

В.В. ВИНОГРАДОВ

**СЛОВО И ЗНАЧЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ
ИСТОРИКО-ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ***

I

Строй языка определяется взаимодействием его грамматики и лексики. И в той и другой выступают как органический элемент языковой структуры ее фонетические свойства и фонологические качества. Между грамматикой и лексикой тесная связь и соотношение. Так же, как принято говорить о грамматическом строе языка, следует говорить о его лексическом строе. Однако лексикология еще не может представить таких глубоких и разносторонних обобщений и выводов из своих исследований, как наука о грамматическом строе разных языковых систем и типов. Это несоответствие отчасти объясняется тем, что история лексического строя многих языков почти вовсе не изучена. Так, можно решительно утверждать, что историческая лексикология русского языка вообще, а литературного, в частности, еще только в зародыше. Вместе с тем для построения исторической лексикологии любого языка, в том числе и русского, необходимо установить более точные и определенные методы исторического иссле-

* Публикуемая статья представляет собой доклад, прочитанный В.В. Виноградовым на Научной сессии Ленинградского государственного университета 16–30 ноября 1945 года. Тезисы доклада были опубликованы в том же 1945 году (см.: "Тезисы докладов по секции филологических наук" Л., С. 56–58), а затем в книге: В.В. Виноградов. "Избранные труды: лексикология и лексикография" (М., 1977, с. 39). Полный текст доклада считался утерянным. Оригинал – рукопись (132 стр.) и машинопись с авторской правкой (74 стр.; страницы 6, 7, 41 и 43 отсутствуют) – хранился в архиве В.В. Виноградова. Судя по исправлениям в тексте и по многочисленным добавлениям на листках разного формата, автор предполагал продолжить работу над текстом как над отдельной статьей. В 1968 году небольшой фрагмент доклада – очерк о семантической судьбе слова *полоумный* – В.В. Виноградов опубликовал в журнале "Вопросы языкознания" в составе статьи: "Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры" (ВЯ, 1968, № 1, с. 3–22; см. также В.В. Виноградов. "Избранные труды: лексикология и лексикография", с. 281–283 и В.В. Виноградов. История слов. М., 1994, с. 956–958).

Статья с тем же названием – "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования", – подготовленная к печати по машинописному тексту, выверенному по рукописи, опубликована в названной выше книге: В.В. Виноградов. История слов (с. 5–38)**. В текст этой статьи были внесены добавления, сделанные автором позже на отдельных листках и с очевидностью относящиеся к соответствующим частям рукописи.

В предлагаемой читателям статье текст доклада представлен без последующих добавлений как документ своего времени. При подготовке к печати мы сочли возможным лишь исключить из текста очерк о семантической судьбе слова *полоумный*, который неоднократно выходил в свет. В настоящей публикации сохранены также ссылки на труды Н.Я. Марра и других последователей "нового учения о языке", опущенные в книге "История слов".

В настоящей публикации сохраняется система отсылок (исключение представляет сквозная, а не постраничная, их нумерация в сносках), шрифтовые выделения, библиографический аппарат, а также вообще все то оформление, которое принято в книге: В.В. Виноградов. История слов. Там же читатель найдет список условных сокращений, принятых в тексте статьи при цитации литературных и других источников.

** © В.М. Мальцева, 1994 г.

© Составление и текстологическая обработка

Институт русского языка РАН: Н.Ю. Шведова, В.А. Плотникова.

дования лексической системы и слова как элемента этой системы. Попытки систематизировать и свести основные семантические процессы в истории словаря к некоторым общим категориям и закономерностям до сих пор не увенчались успехом. Поэтому в современной западноевропейской лингвистике иногда раздаются скептические уверения, что при настоящем состоянии науки о языке строго научная классификация семантических изменений слова даже невозможна¹. Между тем мышление находит свое выражение и отражение в словаре так же, как и во всем строе языка. Знание идеологии социальной среды на той или иной ступени общественного развития само по себе еще не ведет прямым путем к пониманию семантической системы языка этой среды. Идеология и язык не являются зеркальными отражениями друг друга. Известно, что в языке, наряду с отражением живых идей современности, громадную роль играют унаследованные от прошлого – иногда очень далекого – технические средства выражения. К тому же о мировоззрении давних или древних эпох обычно у историков культуры складывается или односторонне искаженное, или чересчур абстрактное представление. Мир значений, запечатленный в формах языка, имеет в разных системах свои законы связей, свои принципы построения. Наконец, для изучения истории даже отдельных слов необходимо воспроизвести полностью контексты употребления этих слов в разные периоды истории языка, а также разные виды их связей и соотношений с другими лексическими рядами. А это – цель почти неосуществимая. Вот почему Б.М. Энгельгардт остроумно отнес изучение истории отдельных слов к "заумному" плану исследования. «Изучение языка в плане "заумности" – писал он – давно уже практикуется в области лингвистики. Но там это обстоятельство не только не подчеркивается с нарочитой резкостью, а скорее скромно замалчивается. В самом деле: хотя почти во всякой работе по лингвистике общего характера мы встречаем категорические заявления о том, что слово должно изучаться непременно в его соотношении к целой фразе, фраза в связи с контекстом и т.д., что, говоря иначе, каждый отдельный элемент сложного словообразования должен рассматриваться в аспекте целого и, прежде всего, в аспекте данного смыслового единства, однако на практике принцип этот далеко не выдерживается, и элементы словесного ряда, как единой структуры, подвергаются анализу именно в своей отдельности и особенности. Ясно, что при этом момент их соотношенности к смысловому единству "содержания" отпадает, и исследование неизбежно переводится в заумный план»². Но, понятно, иллюзия охвата некоторого идеологического единства может сохраняться и при таком методе изучения истории изолированных слов.

Слова, идеи и вещи должны изучаться как аналогические и взаимодействующие ряды явлений. Но соотношение между ними – сложное. В истории материальной культуры функции и связи вещей меняются в зависимости от контекста культуры, от ее стиля. Формы мировоззрений также эволюционируют, и едва ли воспроизведение идеологических систем прошлого возможно без помощи лингвистического анализа. Язык – это не только средство выражения мысли, но и форма ее становления, орган образования мысли (как говорил Гумбольдт) – и вместе с тем сама сформировавшаяся мысль. Историческое изучение словаря невозможно без знания истории материальной и духовной культуры, но оно не должно состоять в механическом сцеплении фактов быта и мировоззрения с формами языка. Конечно, для понимания строя лексической

¹ См. статью Ф. Оберпфальцера о классификации семасиологических изменений в *Mvñµα Sbornik vydaný na paměť čtyřicetiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého na universitě Karlově. 1885–1925. Praha, 1925 (с. 339–352)*. Оберпфальцер предлагает разделить всю совокупность семантических изменений на четыре основных группы: 1) перенесение значений в самом широком смысле слова (метафоры, эфемизмы, метонимии, гиперболы); 2) семантические сдвиги под влиянием причин конструктивного – языкового характера (влияние форм речи, строения предложений); 3) социальные факторы в жизни слов (переход слова из одной социальной группы в другую, заимствование значений); 4) обусловленность семантических явлений материальной и духовной культурой. Уже непосредственно очевидно, что эта классификация искусственна.

² Энгельгардт Б. Формальный метод в истории литературы. 1927, С. 58–59.

системы, свойственной тому или иному периоду в развитии языка, необходимо знание типов мышления, свойственных разным эпохам, необходимо отчетливое представление исторических законов связи понятий и значений. Но тут получается своеобразный заколдованный круг. Открытие закономерностей в исторических изменениях форм и типов мышления невозможно без изучения истории языка, и между прочим, истории слов и их значений. История же языка, в свою очередь, как научная дисциплина, немислима без общей базы истории материальной и духовной культуры и прежде всего без знания истории общественной мысли. В настоящее время частые провалы и блуждания на этом пути неизбежны. Достаточно сослаться на отсутствие разработанной семантической истории таких слов как *личность, действительность, правда, право, человек, душа, общество, значение, смысл, жизнь, чувство, мысль, причина*. Правда, выяснению причин и условий семантического развития лексических систем помогает знание общих этапов и направлений истории языка в целом. История значений слова может быть воспроизведена лишь на широком фоне истории семантических систем данного языка. Еще в 90-х годах XIX в. М.М. Покровский отстаивал этот тезис: "Отдельные явления языка вполне понятны нам лишь тогда, когда мы будем изучать их не только в связи с теми специальными категориями, которым они принадлежат, но, по возможности, и в связи с общим развитием"³. Определение общих тенденций языкового развития в ту или иную эпоху содействует хронологическому приурочению отдельных семантических процессов в области лексики. Точно так же А. Мейе уже давно, еще в своей вступительной лекции к курсу сравнительно-исторической грамматики, заявил: "Языковые изменения могут быть вполне поняты лишь тогда, когда их рассматривают во всей совокупности развивающихся явлений, часть которых они составляют. Одно и то же изменение получает совершенно различный характер, смотря по процессу, который оно производит. Никогда нельзя пытаться объяснить известную частность без рассмотрения общей системы языка, в котором она является"⁴. О трудностях определить значение слова в далекую от нас эпоху и истолковать его употребление даже в известном кругу примеров писали многие лингвисты. Л.В. Щерба заметил: "Значения слов эмпирически выводятся из языкового материала... Но в живых языках этот материал может быть множим без конца, и в идеале значения определяются с абсолютной достоверностью; в мертвых же языках он ограничен наличной традицией. При этом для одних значений его более чем достаточно, для других его мало, и каждый случай употребления данного слова может окатиться в той или другой степени ценным для разных выводов. И далее, в живых языках каждый, произвольно множа случаи употребления данного слова, может проверить выводы составителя словаря относительно значения данного слова; в мертвых языках для проверки нужно знать все наличные случаи употребления"⁵. Но и этого мало: значения слова и круг его употребления обусловлены лексической системой языка.

Слова на той или иной стадии развития образуют внутренне объединенную систему морфологических и семантическую рядов в их сложных соотношениях и пересечениях. Отдельные слова как смысловые структуры существуют лишь в контексте этих систем, в их пределах они обнаруживают по-разному свои смысловые возможности. Все слова в составе лексической системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они соотношены друг с другом и непосредственно как члены одного и того же семантического ряда, и опосредованно как звенья параллельных или соприкасающихся семантических рядов. В сущности полное раскрытие смысловой структуры слова, т.е. не только его вещественного отношения, но и целостного "пучка" его значений, всех его грамматических форм и функций, его экспрессивных и стилистических оттенков, строя

³ Покровский М.М. Материалы для исторической грамматики латинского языка. М., 1899. С. 19.

⁴ Meillet A. L'état actuel des études de linguistique générale. Leçon d'ouverture de cours de grammaire comparée au Collège de France. Lue le mardi 13 Février. 1906, Paris. P. 19.

⁵ Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 286.

его "внутренних" форм возможно лишь на фоне всей лексической системы языка и в связи с ней. Лексические системы, например, русского языка в разные периоды его истории нам неизвестны. Они не исследованы и не реконструированы. Общие закономерности их смены, исторические процессы, управляющие изменениями русской литературной семантики, еще не открыты. Несомненно, что только при полном воспроизведении исторически сменяющихся или изменяющихся систем языка может быть воссоздана вся картина изменений значений и оттенков слова. В обычном же представлении история слова охватывает лишь небольшие отрезки, клочки общей истории языка. Она касается только единичного языкового факта и смежных явлений. Чаще всего история слова изображается как изолированный процесс, совсем оторванный от общих закономерностей исторического развития данного языка. Итак, противоречие между разнообразием живых смысловых связей и отношений слова в конкретных системах языка разных периодов его истории и между абстрактной прямолинейностью реконструируемого семантического движения слова – вот первая антиномия историко-лингвистического исследования значений слова.

Для истории слов приобретает громадную важность принципиальный вопрос о единстве смысловой структуры развивающегося и меняющегося слова или – что то же – вопрос о тождестве слова при многообразии его смысловых превращений. Когда изучается семантическая система языка в ее современном состоянии, то внутреннее содержание, смысловой объем слова, его строй и границы выступают на фоне всей совокупности смысловых соотношений. Слово понимается как элемент организованного целого, как член смыслового единства языка в целом. Не то – в истории языка. Слова двигаются и меняются вместе со всем языком. Изменения в общей системе отражаются на употреблении и значении отдельных слов. Между тем исследователю истории слов и значений приходится извлекать слова из исторического контекста и рассматривать их в изоляции от окружающей их семантической сферы. Слово как бы протискивается сквозь разные языковые слои, которые оставляют на нем, на его значениях, следы своих своеобразий. При таком изучении полнота значений и оттенков слова, вся широта его употребления в разные периоды истории языка невозможны. Те смысловые нюансы, которые окрашивают слово в разнообразных стилях его употребления и в разные времена, стираются. Слово раскрывается как отдельный исторический факт, который как бы самостоятельно развивает заложенные в нем потенции семантических изменений. Правда, при этом предполагается как фон некоторая общая последовательность языковых процессов и культурно-исторических изменений в быту и идеологии, отражающихся и на значениях слова. Здесь вырастает неустраняемая опасность перенести принципы понимания, свойственные одной эпохе, на другую, далекую от нее. Путь от идеологии и быта к языку – путь не прямой, а очень извилистый.

Академик Н.Я. Марр, призывая к новому пониманию языкознания и языковых отношений, писал: "Главную роль играет здесь семантика, вообще идеология (до идеологии морфологических и собственно звуковых явлений включительно) и строгие законы ее развития, а не формальные фонетические и морфологические показания; последние образуют техническую сторону. Сейчас, после преодоления строгой закономерности содержания в языке, значений слов и идеологии вообще, должна быть в корне переработана и преобразована и технологическая сторона, фонетика"⁶.

При неограниченной диктатуре семантики пучки значений, соответствующих той или иной среде мышления, являются как бы магнитным полем, к которому тянутся впоследствии далеко разошедшиеся слова. Но нетрудно заметить, что в учении Марра разнообразные пучки значений слишком свободно и произвольно вдвигаются в серию стремительно сближенных из разных языков фонических комплексов. И это понятно.

Палеонтологическое и даже вообще историко-этимологическое изучение слова не должно быть отождествляемо и смешиваемо с изучением историко-лексикологическим.

⁶ Марр Н.Я. Безличные, недостаточные, существительные и вспомогательные глаголы // Марр Н.Я. Избранные работы. Т. 2. 1936. С. 309.

Вынесенное за пределы языковой системы, слово становится исторической абстракцией, которая объединяет все ответвившиеся от нее конкретные исторические факты. Оно, в сущности, перестает быть соотносительной единицей лексической системы, а становится отвлеченным морфолого-семантическим элементом, "корнем" многочисленной словесной поросли или сцеплением корней. Если бы можно было – без нарушения исторического правдоподобия – выдвинуть гипотезу, что все слова всех человеческих языков произошли от четырех, трех, двух или даже одного словоэлемента, то лексикология в глоттогоническом плане могла бы превратиться в повесть о четырех, трех, двух или даже одном слове. В последнем случае проблема эволюции языка целиком слилась бы с эволюцией этого слова и его видоизменений. Поэтому, если отрешиться от вопроса, правильно ли найдены первоэлементы и восстановлены пути их исторического движения, нельзя признать априорно невероятными такие, например, рассуждения Н.П. Гринковой о генезисе слова *пулагай*, "пулкаш" – мордовского обозначения поясного украшения в Пензенской области: «По семантике современного эрзянского языка это слово состоит из корня *pul* ('хвост') и послеслога *laksh*, означающего 'на'; таким образом "пулкаш" следует перевести 'нахвостник'. Корень *pul* является по своей звуковой структуре элементом В. Аналогию мордовскому слову находим в ряде случаев: армянское *po-v* // древнелитературное армянское *pu-sk* 'хвост', русское *x-vo-st*, русское двухэлементное *хо-бо-т*, т.е. 'хвост', 'отросток', 'конец тела'. Исследованиями Н.Я. Марра выяснено, что одно время для 'руки', 'ноги', даже 'хвоста', как 'отростков', пользовались одним и тем же словом по семантическому положению: наречение части по целому (Н.Я. Марр. Происхождение терминов 'книга' и 'письмо', с. 51). По линии семантики противоположных значений, по линии расщепления значений находим в соответствии с русским *хо-бо-т* латинское *са-ри-т*, а рядом одноэлементное чувашское *пу-с* 'голова', татарское *bau* из "*ba-и*" 'голова', армянское *ba-и* 'грива' баскское *bur-и* 'голова'. По линии семантического пучка 'голова + гора + небо' находим в чувашском *пул-т* 'облако', 'туча', в латинском *не-булла*, греч. *νε-φε-λε* 'облако'. Таким образом и данный термин поясного украшения приводит нас к космическим представлениям⁷.

С этимологической или палеонтологической точки зрения слово как конкретно историческая данность либо вовсе игнорируется, либо остается на заднем плане, в тени. Этимология воссоздает генезис и дальнейшее бытие или бытование морфологической, а не лексической единицы. Поэтому под знаком этимологического исследования одного языкового элемента она объединяет многие слова, иногда целое "гнездо" слов. Не то – в исторической лексикологии. Здесь отыскиваются законы изменения значений слов, как индивидуальных конкретно-исторических единств, как членов семантически замкнутых и исторически обусловленных лексических систем.

Границы этимологических толкований слова узки. "Этимология в первую голову есть объяснение слов при помощи установления их отношений с другими словами. Объяснить – значит свести к элементам уже известным, а в лингвистике *объяснить слово – значит свести его к другим словам*, ибо необходимого отношения между звуком и смыслом не существует"⁸. Правильная этимология раскрывает лишь мотивы зарождения слова и первые шаги его социального бытования. Но и в этих случаях этимологические разыскания чаще всего направлены на открытие генезиса лишь тех слов, которые лежат в основе многочисленной лексической группы производных образований. По существу своему этимология не имеет ничего общего с определением понятия и даже с определением первоначального значения слова. Этимологическое объяснение слова в большинстве случаев вовсе не является раскрытием предмета, обозначаемого словом. Понятно, что для правильного и продуктивного применения

⁷ Гринкова Н.П. Очерки по истории развития русской одежды // Советская этнография. 1934 № 1–2. С. 82–83.

⁸ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 173.

этимологического метода, кроме знания системы историко-фонетических соответствий между языками, опирающихся на сравнительно-историческую грамматику, кроме знания истории духовной и материальной культуры, лингвистической географии слов, необходимы также ясные и точные сведения по истории разных моделей и типов словообразования. Этимология, объясняя слова, редко сопровождает анализ их корневых элементов теорией их формативов, префиксов, суффиксов. В истории русского языка (а также в истории других славянских языков) эволюция словообразования почти совсем не изучена. И это обстоятельство создает большие трудности для надлежащего синтеза этимологических и историко-семантических исследований в области лексикологии.

Однородность морфологической структуры слов еще не говорит об одновременности их происхождения и об одинаковости их семантической истории. Напр., слова – *засилье*, *насилие* и *усилье* имели в русском литературном языке совсем разную судьбу. *Усилие* – старославянизм по своему происхождению. Его значение "труд, напряжение силы для осуществления, достижения чего-либо" приобрело лишь более абстрактный и логически определенный характер, но не подверглось ни коренной ломке, ни словесным разветвлениям в истории русского литературного языка. Почти то же можно сказать и об истории слова *насилие*, правда, более разнообразного по своим значениям и оттенкам. Это слово – тоже книжное (см. в Изборнике 1073 г.). Но оно рано укоренилось в государственном деловом языке (см. в Договоре Олега 911 г., в Летописи, в грамотах, в Слове о полку Игореве)⁹. Его основное значение – "притеснение, принуждение, применение силы". Понятно, что это значение в связи с изменением правовых норм обслаивалось новыми смысловыми оттенками (см., напр., такой оттенок значения, как: "беззаконное применение силы, злоупотребление властью"). Кроме того, слово *насилие* вступило в синонимическое соотношение с более поздним книжным словом *изнасилование*. Совсем иными путями двигалось слово *засилье*. Оно было чуждо русскому литературному языку XVIII и первой половины XIX в. Оно даже не регистрировалось ни словарями Академии Российской, ни словарем 1847 г. Его нет и в Толковом словаре Даля, хотя тут помещены глаголы: *засиливать* – "заставлять силою, против воли", *засилиться* – "усиливаться" и *засилить* – "поймать силком из рук, накинув силок". Только в Академическом словаре русского языка под редакцией акад. А.А. Шахматова приведено слово *засилие* обрисован круг его значений. Здесь указываются два значения (те же, что внесены затем и в Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова): 1) Сила, влияние, власть, насилие. 2) Достаток, богатство. Очевидно, что второе значение так и остается народно-областным, хотя оно иллюстрируется примером из "Благонамеренных речей" Салтыкова-Щедрина: "Да и *засилье* настоящего у мужиков нет – все в рассрочку да в годы". Основное литературное значение этого слова – "преобладающее влияние" – установилось не ранее 50–60-х годов XIX в. и также вышло из народной речи. В.И. Чернышев приводит такую фразу из подмосковных народных говоров: "Как *засилие* возьмет человек, – што ты с ним сделаешь". В этом значении слово *засилие* отмечено в языке Салтыкова-Щедрина и Мамина-Сибиряка. Контекст употребления этого слова, распространившегося в газетно-публицистических стилях конца XIX в., сильно изменился. Ср., напр., у Мамина-Сибиряка в романе "Золото": "Он зла-то не может сделать, *засилья* нет" или у Салтыкова-Щедрина в "Мелочах жизни": "Ах, кабы мне... вот хотя бы чуточку мне *засилия*... кажется бы, я...". В стилистической окраске слова *засилье* и до сих пор чувствуется ощутительный отголосок разговорной речи. Оно менее "книжно", чем *усилие* и *насилие*. На нем лежит яркая печать его устно-народного бытования.

Этимология слов не только уже, ограниченнее истории слов, но может быть и очень далека от этой последней. В самом деле, для этимологии центр тяжести – в родословной слова, в происхождении его элементов, в их генезисе. Этимология уста-

⁹ См. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 2. СПб., С. 330.

навливают, по выражению Ж. Вандриеса, "послужные списки слов, выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через какие изменения прошло"¹⁰. При всестороннем исследовании этих проблем вопрос об изменениях смысла и употреблении слов не является чуждым этимологии. Но этимология меньше всего способна раскрыть все разнообразие смысловых изменений, переживаемых словом в разной социальной среде и в разные эпохи. Последовательность и ход изменения значения слова, разъяснение тех реальных исторических условий, в которых протекали эти изменения, остаются по большей части за пределами этимологического исследования. Кроме того, этимологический анализ нередко возводит слово или его основные значения к истокам их жизни, предшествующим образованию данного языка. В этом случае этимология выступает далеко из рамок истории того или иного языка и истории слов, мыслимой в границах изучаемого языка. Будучи исторической наукой, этимология дает лишь материалы для истории культуры. Но она не стремится установить по данным языка закономерную последовательность всех этапов духовного или материального развития каждого народа в любой сфере быта и познания.

История слов на протяжении многих веков – может быть вовсе отделена от этимологии. Можно следить за историческими судьбами слова с любого момента его жизненного пути. Вместе с тем, этимология, в сущности, как уже сказано, имеет дело не со словом, как исторической реальностью, как членом живой языковой структуры, а с семантической фикцией, условно принимаемой за этимологический центр разных слов. Этимология изучает перемещения этого воображаемого центра во времени и пространстве и связанные с этим изменения его функций. А.А. Потебня заметил, как один из членов рода, «хотя может служить посылкою к заключению о свойствах родоначальника, никаким чудом не станет понятием об этом родоначальнике. Подобным образом и корень как отвлечение включает в себе некоторые указания на свойства корня как настоящего слова, но не может никогда равняться этому последнему. Странно было бы утверждать, что родоначальник живет в своем потомстве, хотя бы и не "сам по себе", а в соединении с чем-то посторонним»¹¹. Верно и то, что этимология отдельного слова не представляет ценности сама по себе. Она имеет значение для лингвиста лишь как опора общего положения, общего вывода (см. об этом Ж. Вандриес. Язык с. 183–184). Этимология лишь тогда получает твердый научный фундамент, когда она вливается в историческую лексикологию или историческую семантику. В этом случае этимологическое исследование слов расширяется до пределов историко-семантического. По остроумному выражению Шухардта, такая этимология есть не что иное как сокращенная история слова (Schuchardt–Brevier, s. 105). В судьбах слов раскрываются законы изменения значений – на разных стадиях языка и мышления – со всеми социально-обусловленными отклонениями в развитии отдельных целей явлений. Но стоит лишь сузить границы этимологического изучения, и сразу же обнаружится резкий разрыв между этимологией и историей значений слова. "Такая этимология описывает факты, но это описание не методичное описание, ибо оно не производится в каком-либо определенном направлении. Взяв в качестве предмета для исследования какое-нибудь отдельное слово, этимология черпает информацию по поводу его из области то фонетики, то морфологии, то семантики и т.д. Для достижения своей цели она использует все те средства, которые в ее распоряжение представляет лингвистика, но при этом она не задерживает своего внимания на выяснении характера тех операций, которые ей приходится производить"¹².

В отличие от этимологии для истории значения слов, для исторической лексикологии представляют интерес все конструктивные элементы слова, все оболочки его смысловой структуры и все моменты семантического развития слова. Историко-лексикологическое изучение слова предполагает точное знание его семантических гра-

¹⁰ Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. М., 1937. С. 167–168.

¹¹ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Ч. 1–2, 2-е изд. Харьков, 1888–1889. С. 16.

¹² Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики. С. 173.

ниц в разные периоды развития языка. Границы слова определяются его функциями в составе фраз и его местом в общей системе языка. Отграничение слова от других соотносительных с ним языковых структур – равносильно определению слова, как исторической или диахронической единицы. Эта единица, не распадаясь на самостоятельные, обособленные объекты, может изменяться и в своей фонетической внешности, и в разных элементах своего смыслового строя, в формах своих фразеологических связей.

Именно об этом писал Ф. де Соссюр: "Существует проблема диахронической единицы самой в себе: она сводится к тому, чтобы по поводу каждого события задавать вопрос, что за элемент непосредственно подвергся трансформирующему действию.... Только разрешение проблемы диахронической единицы даст нам возможность преодолеть внешнюю видимость явления эволюции и добраться до ее сути"¹³.

Изучение исторических изменений слова относится к области применения проекционного метода. Слово выносится за пределы индивидуальных и коллективных языковых сознаний, языковых систем. Оно рассматривается как исторически данный объективный факт. Оно проектируется во-вне, как своеобразная реальная сущность, условно изолируется от конкретных языковых сознаний и языковых систем, как некая независимая в своем бытии "вещь". Эта "вещь" представляется непрестанно изменяющейся и в то же время неизменно тождественной. В самом деле, одни и те же слова – в каждом новом моменте своего исторического бытия – оказываются иначе распределенными и иначе понимаемыми в результате разыгрывающихся в языке событий. Но естественно, что и такое "диахроническое" изучение истории слова не может не сопровождаться хотя бы смутным представлением об исторических соотношениях его с другими словами и словесными рядами в рамках разных семантических систем. Полная изоляция слова от контекста его применения, от его разнообразных связей, от смежных, пусть и небольших участков семантической системы невозможна. И все же семантические изменения слова в проекционном плане понимаются чаще всего не на фоне всех изменений языковой системы в целом и не в связи с ними, а более или менее отрешенно, в отрыве от них. В этой невольной или вынужденной изоляции отдельного лексического факта заключается временный порок большей части современной историко-лингвистических исследований, а не органическая черта "диахронической лингвистики". Напротив, подлинный историзм неразрывно связан с широким охватом контекста эпохи или языковой системы в целом на разных этапах ее развития. Поэтому и для исторической лексикологии исследование истории значений слова и исследование истории целостных лексических систем – задачи соотносительные и взаимообусловленные. Чем шире и ярче в истории отдельных слов раскрывается история цельных лексических систем и отражаются основные тенденции их последовательных изменений и смен, тем история значений этих слов конкретнее, реальнее и ближе к подлинной исторической действительности. Проекционно-историческое изучение слова должно учитывать не только события во времени, но и пространственные изменения в жизни слова, которые впрочем тоже сводятся к моментам исторического движения слова. Здесь "для оправдания сближения двух форм достаточно, если между ними есть историческая связь, какой бы косвенной она ни была"¹⁴. Такое изучение является социально-историческим и, вместе с тем, социально-географическим. Оно следит и за последовательными сменами и наслоениями значений слова в пределах одной социальной среды и за переходами слова из одного социального круга в другой. Семантическое превращение слова на первый взгляд представляется историческим событием – изолированным и глубоко индивидуальным. Ф. де Соссюру даже казалось во всех этих случаях, что "это лишь один случайный инцидент из числа регистрируемых историей языка"¹⁵. На самом деле история от-

¹³ Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики. С. 166.

¹⁴ Там же. С. 96.

¹⁵ Там же. С. 98.

дельного слова не случайное, а последовательное историческое звено в общих сдвигах семантических систем, хотя многие изменения здесь могут быть вызваны частичными причинами и непосредственно не затрагивать всех элементов языковой системы. Но тем больше опасности при изучении истории отдельных слов – оторвать судьбу слова от живых и изменчивых конкретных процессов в истории языка и исказить ход семантических изменений. Такое искажение иногда вызывается внушениями современности, модернизацией языкового прошлого. В самом деле, насколько всеобща, типична, и на какое время действительны семантико-грамматические связи понятий? А ведь мы охотно готовы признать их однородными на протяжении всей истории русского языка. Так, значения действующего лица и орудия в русском языке легко совмещаются в одном слове. Напр.: *истребитель, разведчик, распределитель*. Но можно ли на этом основании объединять соответствующие значения в слове *наушник*, или же целесообразнее видеть здесь два омонима? В словаре Ушакова указано лишь одно слово *наушник* с такими значениями: 1) Часть теплой шапки, закрывающая ухо. Шапка с наушниками. // Отдельный футляр из теплой материи, надеваемый на ухо. 2) Прикладываемый к уху или надеваемый на ухо прибор, соединенный с звукопередающим аппаратом. 3) Тот, кто наушничает (разгов. презрит.).

Однако естественный языковой инстинкт противится такому объединению разных значений и обозначений разных предметов. Для современного сознания здесь два разных слова. Длинная цепь производных связанных с *наушником* в значении лица: *наушничать, наушничество, наушнический*, женск. *наушница*. *Наушник* как предмет связывается нами лишь с прилагательным *наушный*. Кроме того, для нас оба эти слова имеют совсем разные внутренние формы и различные экспрессивно-стилистические оттенки: *наушник* нашептывает на ухо кому-нибудь тайком разные доносы, сплетни, клевету; совсем иное дело *наушник*, надеваемый или натягиваемый на уши. Тут два разных морфологических и лексико-семантических омонима. Но всегда ли соответствующие сферы значений были резко разграничены? Слово *наушник*, хотя и не отмечено у Срезневского, но едва ли возникло позднее XVI–XVII вв. См. в "Истории о Петре I" Б.И. Куракина: "Филат Шанской... сей пьяный человек, и мужик пронырливый, употреблен был за *ушника*, и при обедах, будто в шутках или пьянстве, на всех министров рассказывал явно, что кто делает и кого обидят, и как крадут" (Русск. старина, 1890, октябрь, с. 255). С этим же звуковым комплексом *наушник* уже в XVI–XVII вв. могли сочетаться столь различные значения как: 1) Тайный клеветник, наговорщик. 2) Лопать у шапки или шлема, покрывающая ухо. 3) Кусок плотной (шерстяной) ткани, для предохранения ушей от действия сильных морозов¹⁶. Были ли эти значения решительно дифференцированы и относились ли они и тогда к двум разным омонимам? Ведь смысловой объем слова прежде мог быть шире, и соотношение "внутренних форм" разных значений иначе направлено. Логические границы отдельных значений могли быть менее четкими и определенными. Во всяком случае без исторического исследования русской семантической системы в целом ответ на этот вопрос не может считаться предрешенным. Таким образом, изучение истории значений русских слов должно опираться на общую историю русского языка, на историю его строя и должно быть органически связано с изучением истории его лексических систем.

II

Для исторической лексикологии, для истории значений слов и словесных рядов, для истории лексических систем имеет громадную важность вопрос о единстве смысловой структуры развивающегося и меняющегося слова или иначе: вопрос о пределах тождества слова при многообразии его фонетико-морфологических и предметно-смысловых превращений. Единство слова не исключает различия

¹⁶ Словарь церк.-слав. и рус. яз., 2-е изд., СПб., 1867. Т. 2. С. 874.

его конкретных проявлений. Тождество слова не зависит ни от фонетической неизменности слова, ни от морфологического однообразия его, ни от его семантической устойчивости. Равенство слов само по себе не создает их тождества. Итак, единство смысловой структуры слова и потенциальное многообразие его исторических разновидностей – вот новая антиномия историко-лексикологического исследования. Проблему тождества, как основную для науки о языке, выдвигал еще Ф. де Соссюр. "Весь лингвистический механизм, – по его словам, – вращается исключительно вокруг тождеств и различий, причем эти последние – только обратная сторона первых". Проблема тождества в языке "отчасти совпадает с проблемой сущностей и единиц, являясь ее осложненным и обогащенным развитием"¹⁷. В синхроническом аспекте тождество определяется его значимостью в системе целого. Языковое тождество похоже на тождество поезда, отходящего каждый день в одно и то же время, хотя фактически тут и паровоз и вагоны, и поездная бригада все может быть разное. Или оно похоже на тождество улицы, которая может быть уничтожена, застроена заново и все-таки остается все той же. Ведь "сущность, в ней заключающаяся, не чисто материальна; сущность ее основана на некоторых условиях, чуждых ее случайному материалу, как например, ее положение относительно других улиц. ... И вместе с тем эта сущность не абстрактна: ибо улицу или скорый поезд нельзя себе представить вне материального существования"¹⁸. Таково же и тождество слова. Понятие тождества здесь сливается с понятием значимости выражения в языковой системе. Слово как конь в шахматной игре. "В своей чистой материальности, вне своего места и прочих условий игры, он ничего для игрока не представляет, а становится он в игре элементом реальным и конкретным лишь постольку, поскольку он облечен своей значимостью и с нею неразрывно связан"¹⁹. Внутреннее обоснование значимостей сводится к обычаю и духовной деятельности данного коллектива – социальной группы, народа в целом. Вместе с тем совершенно очевидно, что самый акт смыслового превращения или осложнения слова не нарушает его тождества, так же, как ход коня не делает его новой фигурой. "Перемещение отдельной фигуры есть факт абсолютно отличный от предшествовавшего равновесия и от последующего равновесия. Произведенная перемена не относится ни к одному из двух состояний: з н а ч е н и е и м е ю т л и ш ь с о с т о я н и я"²⁰. Так, по Соссюру, в системе языка нет места изменениям, происходящим в промежутках между одним состоянием и другим. Вот почему Соссюр считает вопрос о диахроническом тождестве слова, т.е. о тождестве слова в его истории, только "продолжением и осложнением" вопроса о синхроническом тождестве. "Диахроническое тождество двух столь различных слов, как *calidum* и *chaud* попросту означает, что переход от одного к другому произошел сквозь целый ряд синхронических тождеств в области речи без того, чтобы связь между ними когда-нибудь нарушилась в результате последовательных фонетических трансформаций"²¹. Однако в действительности совершенно невозможно, чтобы тождество было связано со звуком как таковым²² и определялось в силу действия фонетических законов. Установление тождества обусловлено целой системой исторических соответствий – фонетических, грамматических, лексико-семантических, позволяющих распознать в двух различных формах одну и ту же языковую единицу. Нельзя сказать, чтобы анализ понятия о диахроническом тождестве у де Соссюра был очень глубок. Соссюр слишком узко и схематично понимает синхроническое тождество. Его определение не диалектично. Ведь в с о с т о я н и и уже заложены потенции дальнейшего д в и ж е н и я. Языковое состояние нельзя рассматривать механически как инертное и пассивное. В синхроническом тождестве слова есть отголосок его прошлых изменений и намеки на будущее развитие. Сле-

¹⁷ Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики. С. 109.

¹⁸ Там же. С. 110.

¹⁹ Там же. С. 111.

²⁰ Там же. С. 95.

²¹ Там же. С. 167.

²² Там же.

довательно, синхроническое и диахроническое – лишь разные стороны одного и того же исторического процесса. Динамика настоящего – порыв в будущее. Соотношение значений в современном употреблении слова, их иерархия, их фразеологические контексты и их экспрессивная оценка – всегда заключают в себе диахронические отложения прошлых эпох.

То же с т в о следует отличать от р а в е н с т в а. Ни первое еще не предполагает второго, ни второе первого. С одной стороны, предмет может называться тем же, каким он был прежде, хотя бы он за истекшее время подвергся значительным изменениям. Мы очень часто признаем т е м ж е с а м ы м предмет, который изменился. Это – тот же человек, которого я знал еще молодым и который теперь производит впечатление старика, это тот же листок, который летом был зелен, а теперь желт и т.п. С другой стороны, два предмета – как бы они ни были равны – все не один и тот же предмет, и мы нередко подчеркиваем их "нумерическое" различие, когда сходство или равенство достигает высокой степени – две одинаковых монеты, две одинаковых картины, два одинаковых слова и т.п.²³ Вместе с тем ясно, что тождество или тождественное – это не переживание, но лишь объект переживания. Метафизическим заблуждением является мнение, что мы фактически никогда не воспринимаем того же предмета, но считаем тождественными лишь такие вещи, которые практически неразличимы для нас после перерывов восприятия. Ведь Беркли учил даже о мгновенном уничтожении предметов при перерывах восприятия (*die Lehre von der Momentanvernichtung*). Тождество предмета – не иллюзия, а объективный исторический факт. Иначе говоря, одинаковые слова могут быть разными словами, омонимами (особенно в составе разных диалектов языка), а изменившееся слово чаще всего остается тем же единством.

Тождество слова иного характера, чем тождество лица и вещи. Тождество вещей устанавливается через тождество понятий, а тождество личности – через единство ее самополагающей деятельности. О двух вещах никогда нельзя в строгом смысле слова сказать, что они "тождественны", они лишь сходны, хотя бы даже и во всем, лишь подобны друг другу, хотя бы и по всем признакам. Поэтому тождество вещей может быть родовым, генерическим, по роду (*identitas generica*), или видовым, специфическим, по виду (*identitas specifica*) одним словом – п р и з н а к о в ы м – по тому или иному числу признаков, быть может, по бесконечному множеству признаков и даже по всем признакам, но все же не нумерическим, не числовым, не по числу (*identitas numerica*). Понятие о числовом тождестве неприложимо к вещам: вещь по отношению к другой – может быть лишь "такая же" или "не такая же", но никогда – "та же" или "не та же"; напротив, о двух личностях, в сущности, нельзя говорить, что они "сходны", а лишь "тождественны" или "нетождественны". Для личностей, как личностей, возможно или нумерическое тождество их или никакого. Правда, говорят иногда о "сходстве личностей", но это – неточное словоупотребление, так как на самом-то деле при этом разумеется не сходство личностей, а сходство тех или иных свойств их психофизических механизмов, т.е. речь идет о том, что хотя и в личности, но не личность²⁴.

Слово более живуче, более долговечно, чем вещь и личность, и более изменчиво, чем они. При восприятии тождества слова – невольно возникает сопоставление слова с жизненным организмом. Это – своеобразная анимизация слова. С анимистической точки зрения реальное тождество объекта опирается на непрерывную одушевляющую его жизненность. Как только положен предел одухотворению объектов, подрывается и основа, на которой покоится анимистическое понимание тождества. Тождественность той языковой единицы, которая подвергается разнообразным – фонетическим, грамматическим и лексико-семантическим – изменениям в процессе исторического развития, обычно устанавливается на основе современного представления о единстве структуры

²³ Ср. *Gomperz H. Weltanschauungslehre. Bd 1. Methodologie. 1905.*

²⁴ *Флоренский П. Столп и утверждение истины. М. 1914. С. 79.*

слова. Исследователь узнает то же слово в его разнообразных исторических видоизменениях так же, как он не сомневается в тождестве других исторических фактов или материальных вещей – при всем многообразии их исторических метаморфоз, напр., в тождестве обычной, поговорки, загадки и т.п. Но со словом и тут дело обстоит гораздо сложнее. Материальный субстрат слова – его внешняя форма не только изменчив, но и обманчив. Дело в том, что число звуковых комбинаций в языке – особенно в древнейшие периоды его жизни – очень ограничено. Следовательно, возможны частые совпадения в структуре или во внешнем изображении разных словесных знаков. Интонационные различия между однородными выражениями по отношению к древним стадиям языкового развития от нас скрыты. Поэтому опасность отождествления и произвольного объединения разных языковых знаков тут особенно велика. Ошибки и заблуждения этого рода встречаются на каждом шагу в этимологических исследованиях. Здесь они сказываются в утверждениях мнимых тождеств корней по признаку сходства и соответствия. Узнавание одного и того же слова, сохранение единства структуры слова вовсе не предполагает неизменности его внешнего облика. Больше того, при смешении двух близко родственных языков может произойти отождествление разных слов, если, укладываясь в систему воспринимающего языка, они совпадают фонологически и гармонируют, соответствуют друг другу семантически (ср. старосл. *нѣждьный* и русск. *нужный*; польск. *kleńczes* и русское народно-областн. из тюркск. *клямчить*, *клянчить* и др. под.). В историческом процессе внешняя форма слова может подвергаться и почти всегда подвергается изменениям. Нередко эти изменения создают впечатление резкого скачка – настолько меняется фонетический облик слова. Напр., из *подишва* образуются *почва* и *пошва* (ср. *подишва* из *подъшъва*); из *къдуня* (греч. *κιδώνιον*) – "дуля" (вид груши) и собств. имя *Дуня*; *Феврония* дает жизнь слову *Хавронья*; от *Филиппа* ответвляется *Филя*, *простофиля* (ср. *Филькина грамота*); *Кирилл* превращается в *Чурилу* и т.п. Таким образом, в истории языка как одно и то же слово, выражение рассматриваются материально разные объекты, звуковые комплексы, фонетическая структура которых неодинакова напр., *дъщанъ* – *чан*, *политавры* – *литавры*, *пъбрьць* – *перец* и т.д.

При фонетической трансформации слова стержнем его целостности становится его смысловая структура. Самой крепкой и осязательной опорой единства слова в этом случае является сохранность, неизменность его номинативного применения. Тот предмет, на который указывало слово *чбанъ*, не изменился оттого, что вместо *чбанъ* он стал через столетие называться *жбан* (ср. *бъчела* – *пчела*, диалект. *мчела* при украинском *бджола*; *пряник* из *пъбрьяникъ*; *гончар* из *гърньчаръ* и т.п.). Таким образом, тождество слова не разрушается его фонетической деформацией: с исторической точки зрения *очюньно* и *очень* – одно и то же слово. Кроме того, фонетические изменения, происшедшие со словом, могут не затронуть его фонологической структуры (если эти звуковые изменения не коснулись значимых элементов фонем, не нарушили общей фонетической модели языка и не передвинули морфологических рядов). С фонологической точки зрения звуковая форма слова может оставаться тождественной при резких фонетических изменениях в ее внешности, воспринимаемой слухом человека, чуждого данному языковому коллективу (напр., *перчатка* из *перцатка* – *пърст* – *жатъ-ка*). Ведь большая разница между тем, "каким чувствуется говорящим произносимый звук, как знаменательная единица, и каким выходит в исполнении, и произнесении, благодаря комбинаторным внешним обстоятельствам"²⁵. В связи с этим необходимо напомнить учение проф. Бодуэна де Куртене о факультативных фонемах (т.е. о переходных исторических стадиях от полного существования к исчезновению звука). На этих стадиях "имеется еще в душах говорящих воспоминание и представление изустного звука, но без необходимости исполнения, которое, таким образом,

²⁵ См. Улашин Г. Критико-библиографические заметки о некоторых исследованиях, посвященных польскому языку // Изв. ОРЯС АН, т. 12, кн. 1. 1907. С. 479.

является факультативным»²⁶. Проф. Н.М. Каринский в своих "Очерках языка русских крестьян" пишет: «Изменение реальной семантики слов в зависимости от контекста в одних случаях и сохранение старой семантики в других случаях ведет к дифференциации звукового оформления. Так в архаическом говоре обособилось наречие *с'о*, имеющее, между прочим, и временное значение (*jà с'о думају*) и наречие *с'отъки* от местоимения *в'ес'*; *фс'о*, *фс'ех* и пр. не только в смысловом, но и в звуковом отношении. Так образовались частицы *гр'и*, *гът* так же в определенном контексте из слова "говорит" в связи с тем, что слово это вместо акта говорения стало обозначать лишь указание на отношение приводимой речи к определенному лицу. С этой точки зрения необходимо рассматривать и историю образования некоторых союзов подчиненных предложений, напр. союз *что (штъ)*»²⁷.

Казалось бы, что значение закономерностей фонетического развития языка обеспечивает сознание тождества слова – несмотря на многообразие его звуковых изменений. Однако резкие фонетические превращения слова могут оторвать его от родственного морфологического ряда (напр., *очнуться* от *очутиться*; *кануть* от *капать*; ср. *кануть* и т.п.), или же вызвать раздвоение слова, его расщепление на две единицы (напр., *ружье* и *оружие*). Фонетические изменения нередко ведут к резким семантическим сдвигам в смысловой структуре слова и разрывают его связи с другими словами, преобразуя весь его морфологический облик. Так, изменение *дъщанъ* в *чан* было связано с отрывом слова *чан* от лексического гнезда *доска*, *дощаный*, *дощаник* и т.п., с морфологическим опрощением структуры этого слова, с превращением его в производное и с соответствующим его семантическим преобразованием. Границы тождества слова окажутся еще более широкими, если подойти к структуре слова с семантико-морфологической точки зрения. В этом аспекте слово, принадлежащее к категориям знаменательных частей речи, представляется системой соотносительных и взаимно обусловленных форм, выражающих или разные синтаксические функции этого слова, или оттенки – интеллектуальные и экспрессивные – его значений. Напр., в древнерусском книжном языке – *быти*, *есмь*, *еси*, *есть*, *суть*, *бы*, *буду*, *сущий*, *будучи* и другие беспредложные глагольные образования тех же корней были формами одного и того же слова. Система форм одного слова как в пределах категории глагола, так и в сфере именных категорий – величина исторически изменчивая. Так, в современном русском языке *есть*, *суть*, *сущий*, *быть* (с формами будущего и прошедшего времени), архаический канцелярский союз *буде* и частица *бы* являются разными словами. Единство смысловой структуры спрягаемого или склоняемого слова определяется всем строем языка на той или иной ступени его развития. Смещения и изменения в системах форм разных слов непрерывно колеблют устойчивость его семантических границ и ведут к раздвоению или даже распаду тождества слова. Понятно, что распад слова на две самостоятельные лексические единицы так же обнаруживается лишь на фоне всей семантической системы языка, рассматриваемой в ее движении и в ее отношении к другим языковым системам.

Вот пример из истории русского профессионально-военного диалекта. В строевом учении начала XIX в. существовала команда *весь-кругом*, и это движение батальона, фронтом назад, делалось медленно, в три приема с командою: "раз, два, три". Но потом – по прусскому образцу – стали выполнять это движение в два приема и самая команда была сокращена и произносилась *весь-гом*. Понятно, что выражения *весь-кругом* и *весь-гом* сначала воспринимались как варианты одного и того же словосочетания. Но употребление выражения *весь-гом* вышло далеко за пределы применения старой команды *весь-кругом*. Оно подверглось субстантивации и стало широ-

²⁶ Бодуэн де Куртене И.А. Лингвистические заметки // ЖМНП, 331, 1900, октябрь. С. 370–371; Е г о ж е. Лингвистические заметки и афоризмы // ЖМНП, 346, 1903, апрель. С. 319.

²⁷ Каринский Н.М. Очерки языка русских крестьян. 1936. С. 93.

ким символом фрунтового формализма и произвола. Таким образом, *весь-гом* стало новым словом, проникшим на некоторое время в стили общелитературного языка. Напр., в "Записках о моей жизни" Н.И. Греча: "Общее мнение – не батальон: ему не скажешь *весь-гом*. Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа"²⁸. О команде *весь-гом*, как о популярном военном термине рассказывает и Ф. Булгарин в своих "Воспоминаниях" (СПб., 1848, 5, с. 185–186).

Выражение *весь-гом* приобрело резкий экспрессивно-иронический характер. Напр., им воспользовались поручики Белавин и Брозе в стихотворной сатире на кампанию 1807 г. Здесь команда *весь-гом* была применена к оценке действий русской армии в борьбе 1807 г. с Наполеоном.

Где ты девалась, русская слава,
Гремевшая столь много лет?
Где блеск твой, сильная держава,
Которому дивился свет?
Померкло все! *весь-гом* проклятый,
Лишь выдуманный нам на мечь,
Весь-гом, у пруссаков занятый,
Отнял у нас всю славу, честь.

Когда *весь-гома* мы не знали,
А знали только что вперёд,
Тогда мы храбро воевали,
Страшился нас галл, турок, швед.

И далее, изображая действия русских, авторы каждую строфу заключают ироническим рефреном.

И сами сделали *весь-гом*:
Мы отдали врагам Варшаву,
И сами сделали *весь-гом*
Французов – в прах было разбили,
А сами сделали *весь-гом*.
На месте тысячи поклали
И сами сделали *весь-гом*.

Аракчеев, бывший военный министр, отправил авторов этого стихотворения без шпага, т.е. под арестом, в Финляндскую армию и предписал в войне со шведами посылать их "в те места, где нельзя сделать *весь-гом*"²⁹.

Естественно, что понимание границ тождества слова во многом зависит от определения смысловой структуры слова. Для лингвиста, склонного рассматривать язык как непрерывный поток творческой деятельности и видеть в слове неповторимую, индивидуальную единицу речи, слово однозначно: "новый смысл слова есть новое слово"³⁰. "В словарях принято, для сбережения времени и места, под одним звуковым комплексом перечислять все его значения. Обычай такой необходим, но он не должен порождать мнения, что слово может иметь несколько значений. Омоним есть фикция, основанная на том, что за имя (в смысле слова) принято не действительное слово, а только звук. Действительное слово живет в словаре или грамматике, где оно хранится только в виде препарата, а в речи, как оно каждый раз произносится, причем оно каждый раз состоит из звуков единственного и одного значения (Steinthal в *Zeitschrift für Völkerpsychologie*, 1, S. 425–428). Связью между звуком и значением служит первоначально представление; но с течением времени оно может забыться. Отношение

²⁸ Греч Н.И. Записки о моей жизни. 1930. С. 387.

²⁹ Заметки "Весь-гом" (Сатира на кампанию 1807 г.). Русск. старина. 1897, декабрь. С. 569–570.

³⁰ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 4. С. 198.

между словами однозвучными, если однозвучность их не есть только случайная или мнимая, всегда бывает таково: а) представление, первоначально связанное со звуком, может в разное время стать средством сознания различных значений; б) каждое из этих значений может, в свою очередь, стать представлением других значений. Положим, в слове *з е л ь е* представляется растение чем-то *з е л е н ы м*; значит растение служит затем представлением лекарства, лекарством представляется *снадобье* вообще, *снадобьем* представляется *порох*. Все эти значения – растение, лекарство, *снадобье*, *порох* – составляют не одно слово, а четыре. При появлении каждого из этих значений создается новое слово, хотя звук первого слова может и при всех последующих оставаться неизменным. Нелепо думать, что люди, называющие *порох* *зельем*, представляют его себе *зеленым* или не сознают различия между растением и *порохом*³¹. Однако сам А.А. Потенбня в своих разнообразных историко-этимологических разысканиях считал возможным связывать с смысловой структурой одного слова целую серию значений, внутренне связанных и развившихся друг из друга.

Строго различаются две формы генетической связи между явлениями – *причинная*, где налицо отношения причины и следствия, и *эволюционная*. Причинная форма связи не предполагает однородности явлений. Причина и следствие могут не иметь между собою абсолютно ничего общего. Причинный ряд характеризуется качественной прерывностью. Установление причинной связи в изменениях значений слова – задача чрезвычайно трудная и пока еще не разрешенная. Кроме того, поиски причин изменения значения отдельного слова лишь отвлекли бы исследователя от наблюдений за постепенным ходом семантических модификаций слова. Ведь причины этих изменений могут быть очень различны. Между однородными явлениями устанавливается эволюционная связь. Для выяснения наличия эволюционной связи требуется, прежде всего, сравнительный метод, исходной предпосылкой которого является тезис: известная, поддающаяся математическому исчислению степень сходства между двумя явлениями служит доказательством их генетической связи друг с другом. Но при установлении генетической схемы неизбежен отрыв от конкретной полноты действительных процессов. Ведь уже само рассмотрение факта лишь как отдельного звена эволюционного ряда связано с сужением конкретного содержания исторического процесса. С исторической точки зрения к одному и тому же слову относятся все разновидности его, между которыми удается установить генетическую связь значений. Между тем, в конкретных, исторически замкнутых системах языка, многие из этих разновидностей уже перестают сближаться и расцениваются как разные слова, как омонимы. Таким образом, семантические границы слова, рассматриваемого в историческом разрезе, оказываются чрезвычайно широкими. Они не совпадают с конкретным смысловым объемом соответствующих словесных единиц в рамках той или иной языковой системы. Слово как объект исторического исследования не соответствует ни одному из тех реальных единиц языка, которые под это историческое слово подводятся. Внутреннее смысловое единство такого исторического слова оказывается "идеальным". Оно не воспроизводит реальной "сложности" и раздробленности явлений, а лишь концентрирует их в один абстрагируемый образ. Поэтому надо быть всегда настороже против этой иллюзии тождества. В ней источник многих ложных заключений. Мнимое тождество имени и его фонетическая эквивалентность может показывать глубокие семантические и структурные различия. Даже общность этимологических элементов в составе слов вовсе не является признаком их тождества. Напр., *сыскать* и *снискать* в русском литературном языке XVIII–XIX вв. были разными словами. То же самое следует сказать о таких парах, как *кануть* и *капнуть*, *обязать* и *обвязать* и т.п. Однако, в ином свете представляются соотношения слов и форм *поднимать* – *подымать*, *поднять* – *подъять*; *обнять* и *объять* (ср. *объятия*). Методика исследования тождеств еще включает в себе много спорного и неясного. Например, можно ли считать

³¹ Потенбня А.А. Из записок по русской грамматике. 1941. Т. 4. С. 96.

тождественными однозвучные слова, составленные из одних и тех же морфем, но самостоятельно зародившиеся на разной социальной почве. Самозарождение однотипных и омонимных слов – такой же реальный факт, как и самозарождение мотивов, сюжетов и обычаев. При этом такие близкие по значению омонимы могут возникать не только одновременно – в разных диалектах и наречиях русского языка, но и в разные периоды развития одного и того же языка.

Морфологические элементы, очень живучие, играющие активную роль на протяжении многих периодов исторического развития языка, легко могут вступать в однородные сочетания в разное время, в разных системах языка. Ведь многие модели слов бывают продуктивны в течение нескольких столетий. В таком случае складываются одинаковые или однородные слова, графические или даже фонетические омонимы, между которыми нет ни семантической связи, ни культурно-исторической преемственности. Это вполне разные слова. Напр., в древнерусском языке слово *народьникъ* служило для передачи греч. *δημότης*. Напр., в Изборнике 1073 г.: "паче же *димоти*, рекъше *народьникъ* нача сѧ въ оумѣ кычити и величати"; в Панд. Никона (сл. 41): "Поставленъ епископомъ *народьникъ*"³². Это слово в значении: "высший чиновник, сборщик народных податей" употреблялось в высоком славянском слого вплоть до XVII в. Так, в рукописном Житии Иоанна Предтечи (по рукописи Архива святейшего правительствующего Синода, XVII в.) в изложении чуда Крестителя Господня Иоанна в Новгородском Посаднике (л. 120–128 об.) несколько раз встречается слово *народник* в таком контексте: "Иностранцы латинския вѣры... моляху архиепископа великого нова града, посадников же и тысещников и всех града того *народников*". "Помощь же подаеше им многу мздоимныи *народник* Добрыня"... "О суге умне *народниче*, как оболстися злата дѣля мѣсто поборателя, противник зол явися Христове церкви"³³. В русском литературном языке XVIII в. слово *народник* уже не употребляется. Но в 60–70-е годы XIX в. образуется новое слово *народник* для обозначения представителей общественно-политического течения среди радикальной интеллигенции, выражавшей интересы мелкого производителя, идеализировавшего крестьянскую общину, романтически верившего в развитие России без капитализма и считавшего крестьянство единственной базой идеально-государственного устройства. Ср. *народничество*, *народнический*. Эти слова не указаны ни в одном словаре русского литературного языка до Толкового словаря Даля включительно. Необходимо еще вспомнить, что именем *народник* называли себя славянофилы. И.С. Аксаков писал проф. П.А. Висковатову: "Как вы могли нас *народников* называть славянофилами?" (Письмо от 29 февр. 1884 г.). О Лермонтове он же заметил: "По всей вероятности, Лермонтов кончил бы тем, что стал с л а в я н о ф и л о м народником, как стал им и Пушкин. Сознательным или несознательным – все равно"³⁴.

Слово *общественник* не вошло ни в один словарь русского языка до 40-х годов. Впервые оно отмечено словарем 1847 г. Здесь *общественник* определяется так: "Принадлежащий к какому-либо обществу"³⁵. Словарь Даля развивает то же определение: "*Общественник*, *общественница*, к обществу, общине принадлежащий, общник, член, собрат по сословию"³⁶. Таким образом, слово *общественник* первоначально обозначало члена какого-нибудь сословного объединения. Позднее слово *общественник* сузило свое значение и стало применяться к крестьянину, члену сельского общества. В этом значении слово *общественник* употреблялось и В.И. Лениным (1903 г., в суждении о положении деревни в царской России): «В каждой

³² Срезневский И.И. Материалы. Т. 2. С. 321.

³³ Никольский А.И. Сказания о двух новгородских чудесах из Жития св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня // Изв. ОРЯС АН Т. 12. Кн. 3. 1907. С. 107–109, 110.

³⁴ Висковатов П. В.А. Жуковский как народник // Русск. старина, 1902, август. С. 255.

³⁵ Словарь церк.-слав. и рус. яз. 2-е изд. СПб. 1867. Т. 3, С. 646.

³⁶ Даль В.И. Толковый словарь. 2-е изд. Т. 2. С. 634.

деревне, в каждом обществе есть много батраков, много обнищавших крестьян и есть богатеи, которые сами держат батраков и покупают себе землю "навечно". Эти богатеи тоже *общественники*, и они верховодят в обществе, потому что они – сила» (пример из словаря Ушакова, 2, с. 728). Современное слово *общественник* в значении: "человек, активно участвующий в общественной работе" – возникло независимо от прежнего старого омонима. Это – два разных слова (Но см. в словаре Ушакова). Ср. ранее в письме Е.Я. Колбасина к И.С. Тургеневу (от 29 сент. 1856 г.): "Да и что вы, в самом деле, за *общественник* такой, обреченный судьбой на расхищение каждого литературного поддипала"³⁷.

К числу слов-омонимов, возникших в русском языке в XIX в., как и в других языках, относится серия слов, связанных с одним и тем же звуковым и морфологическим комплексом – *нигилизм*, *нигилист*. В русском языке лишь И.С. Тургенев, применив имя *нигилиста* к типической психологии шестидесятника, придал ему историческую устойчивость и могучую силу крылатого термина. Тургенев с полным правом мог считать себя создателем нового слова ("Литературные и житейские воспоминания", гл. 5 "По поводу отцов и детей"), хотя омонимы этого слова существовали и раньше – не только во французском и немецком, но и в русском языке. Недаром современный критик (Н.Н. Страхов) заявил, что из всего, что есть в "Отцах и детях" слово *нигилизм* имело самый громадный успех. "Оно было принято беспрекословно и противниками и приверженцами того, что им обозначается"³⁸. Прав был по-своему и П.В. Анненков, который говорил, что вместе с Базаровым найдено было и меткое слово, хотя вовсе и не новое, но отлично определяющее как героя и его единомышленников, так и самое время, в которое они жили, – *нигилизм*³⁹. Как показал М.П. Алексеев⁴⁰, появление слова *nihiliste* во французском языке относится к самому началу XIX в. Оно впервые отмечено у Мерсье, автора сочинения "Картины Парижа", в его словаре неологизмов 1801 г. Здесь под словом *nihiliste* (или *rienniste*) разумеется крайний скептик, человек с опустошенной душой "который ничему не верит, ничем внутренне не интересуется". В немецком философско-публицистическом языке слово *Nihilismus* известно также с конца XVIII – начала XIX в. Здесь *Nihilismus* обозначает крайнее проявление идеализма, считающего идею первым абсолютным началом бытия и из нее выводящего весь мир действительности. В русском языке слово *нигилист* едва ли не первый употребил Н.И. Надеждин в своей нахуливающей статье 1829 г.: "Сонмище нигилистов". (Опубликовано в "Вестнике Европы" под псевдонимом Никодим Надоумко). По словам Ап. Григорьева: «Слово "нигилист" не имело у него того значения, какое в наши дни придал ему Тургенев. "Нигилистами" он звал просто людей, которые ничего не знают, ни на чем не основываются в искусстве и жизни, ну, а ведь наши нигилисты знают пять книжек и на них основываются» ("Мои литературные и нравственные скитальчества"). После Надеждина тем же образованием – *нигилизм* – пользовались и Н. Полевой для шутивно-иронической характеристики материализма, и В.Г. Белинский – для сатирической квалификации пустоты, отсутствия всякого содержания. В рецензии на "Провинциальные бредни" Дормедона Васильевича Пругинова ("Молва", 1836, № 4) сказано, что в этом произведении "нет ни идеализма, ни трансцендентализма: в них, напротив, абсолютный нигилизм с достаточной примесью безвкусыя, тривиальности и безграмотности". Любопытно, что в несколько сходном смысле употребил слово *нигилизм* и акад. П.С. Билярский в своем исследовании "Судьбы церковного языка" (СПб., 1849, ч. 2. с. 107–108), заметивший по поводу выступления И.И. Срезневского: "Это было ... только призрак утверждения

³⁷ Тургенев и круг "Современника". Неизданные материалы. 1847–1861. М.; Л., 1930. С. 275.

³⁸ Журнал "Время", 1863, янв. Ср. Страхов Н.Н. Из истории русского нигилизма. СПб., 1890.

³⁹ Вестник Европы. СПб., 1885. Т. 4. С. 505.

⁴⁰ К истории слова "нигилизм". Сб. статей в честь акад. А.И. Соболевского // Сб. ОРЯС АН СССР. М., 1928. Т. 101. № 3. С. 413–417.

и отрицания, под которым открывалось отсутствие определенного взгляда, полный, абсолютный нигилизм". Кроме того, С.П. Шевырев в "Теории поэзии" (1835) пользуется словом *нигилист* вслед за Жан-Полем – для обозначения крайних идеалистов, а М.Н. Катков в 1840 г. называет *нигилистом* – материалиста: "Глядя на мир как он есть, скорее станешь из двух крайностей мистиком, чем *нигилистом*: мы окружены отовсюду чудесами" (Отеч. зап., 1840, 12, октябрь, отд. 2. с. 17). Таким образом, одно и то же образование возникает в разное время и в разных местах, так как его компоненты были интернациональны, и наполняется разнообразным содержанием. Непрерывность историко-семантического развития этим омонимическим обозначениям была чужда. Лишь Тургеневу удалось вдохнуть в то же образование новую душу, новый исторический смысл, который оказался очень активным и живучим.

III

Симптомом тождества слова в разных системах языка является непрерывность его историко-семантического развития. Если слово, как устойчивый реальный акт, как культурно-историческая вещь, непрерывно продолжает выполнять свои функции, хотя и очень разнообразя их на протяжении нескольких веков, нескольких периодов развития языка, то историческая преемственность его значений, их внутренняя связь остается непоколебимой. Единство "вещи" сохраняется, несмотря на различие ее функций в разных исторических контекстах. Конечно, в этом случае может играть большую роль сознание тождества материального субстрата слова, его фонеморфологического состава. Но понятие непрерывности семантического развития слова очень условно. Ведь только в очень редких случаях историк языка может непосредственно наблюдать самый процесс становления и развития новых значений слова – с момента его образования. По большей части он имеет дело лишь с разными состояниями или положениями слова в разных языковых системах. Ему дано лишь последовательное отношение предыдущих и последующих значений. Принципы и формы их генетической связи восстанавливаются и устанавливаются лишь интуитивно. Однако вопреки учению Ф. де Соссюра, синхронический и диахронический аспекты изучения слова взаимообусловлены и тесно между собой связаны.

Идея непрерывности развития слова соотносительна с идеей его изменчивости. Но сама непрерывность – только одна из бесчисленного множества модификаций прерывности. Непрерывность развития слова обычно лишь предполагается, постулируется. Доказательства этой идеи часто опираются на предположение непрерывного исторического движения единого коллективного сознания, т.е. на гипотезу однородности духовной структуры и духовной эволюции коллектива и личности. Но непрерывно ли коллективное движение мысли? При проекционном методе исторического исследования непрерывность развития слова вовсе не тождественна с активным его употреблением из поколения в поколение в рамках одного коллектива. В этом аспекте понятие непрерывности развития отнюдь не соотносительно с понятием единого – раскрывающегося коллективного сознания. Когда слово рассматривается как объективная вещь, как культурно-исторический факт, то учитываются не только странствования слова по диалектам, его перемещения из одного социального круга в другой, но и переходы слова от музейного бытия среди памятников письменности в живую жизнь. Все это вполне мирится с тем условным понятием культурно-исторической непрерывности, которое в данном случае восполняется представлением о длительном консервированном состоянии слова, закрепленного в письменных источниках, о его потенциальном существовании и о непрекращающейся живой возможности его бытового возрождения. Напр., слово *гостиница* к XVIII веку выходит из живого бытового употребления. Оно сохраняется лишь в рамках церковно-книжного культового диалекта. С ним связывается представление о "постоялом дворе, о доме или пристанище для путешественников" (Русск. старина, 1891, апрель, с. 2). Даже в словаре 1847 г. это слово еще рассматривается как неупотребительное "церковное". Ср. в воспоминаниях И.А. Второва "Москва и Казань в начале XIX в." (1842): "Остановился на Тверской

улице в Цареградском трактире (тогда еще не называли *гостинницами*)". Только с 30–40-х годов, в связи с ростом славянофильских тенденций, возвращается в живой бытовой язык древнерусское слово *гостинница*, ограничивая употребление слова *hôtel* и видоизменив значение слова *трактир*.

Итак, понятие тождества слова в его развитии предполагает непрерывность его исторического существования. Но эта непрерывность на деле легко мирится с многовековыми перерывами в реальном применении слова. Далеко не всегда непрерывность истории слова состоит в последовательном переходе его от одного поколения к другому в границах того же общества. Слово может блуждать по разным диалектам. Оно может быть законсервировано в памятниках письменности и затем возобновиться в общественной практике, как бы возродиться к живому, активному употреблению. Противоречие между постулируемой исторической непрерывностью слова и между прерывностью его активного употребления – новая антиномия историко-семантического изучения лексики.

Изучение непрерывности развития значений слова затруднено тем обстоятельством, что по отношению к далекому прошлому вопрос о составе активного словаря, о переходе тех или иных слов из подспудного существования или инертного состояния в живое общественное употребление почти неразрешимы. Между тем, все эти изменения в характере пользования словом, в способе его восприятия обычно сопровождаются экспрессивной переоценкой слова. Вот почему объем значений и оттенки многих слов кажутся нам неизменными, как бы окаменелыми на протяжении многих веков. Между тем, это – историческая иллюзия, обман зрения у историка слова: смысловая структура слова не оставалась неподвижной, законсервированной. Напр., слово – *тоземць* (в другой более поздней форме *туземец*) встречается в русских памятниках, начиная с XI в. (См. Материалы И.И. Срезневского, т. 3, с. 972–973 и 1035. Ср. В.М. Истрин. Хроника Георгия Амартола, т. 1). Его значение ясно: "природный житель страны, местный житель". В словаре 1847 г. значение этого слова определяется так же: "природный житель какой-либо земли или страны, тутошний уроженец". Возникает иллюзия семантической неизменности или неизменяемости слова. Между тем, во второй половине XVIII и начале XIX в. слово *туземец* было настолько малоупотребительно, что оно не попало ни в словари Академии Российской, ни в Общий церковнославяно-русский словарь П. Соколова (1834 г.). Оно хранилось в архивном фонде языка. Г.И. Добрынин в своих "Записках" (Истинное повествование или жизнь Гавриила Добрынина) под 1781 г. делает такое примечание к слову *туземный*: "Прошу не взыскивать за наше родное слово. Ежели мы знаем иностранец или пришлец, то должны знать и *туземец*. Так называли и писали наши праотцы славяне". При этом делается ссылка на "Российскую Вивлиофику" Новикова (Русск. старина, 1871, т. 4, с. 145).

Непрерывность исторического бытия слова во многих случаях трудно доказуема. Перерыв в употреблении слова еще не исключает его пассивного восприятия и понимания в памятниках письменности. Вместе с тем, выпадая из живого литературного лексикона, слово может сохранять свою активность в языке некоторых социальных групп, откуда снова проникает иногда в общелитературный словарь. Понятно, что при исследовании всех этих вопросов важное значение имеет морфологическая структура слова, жизненность и употребительность его модели. Напр., едва ли можно сомневаться в том, что слова *благодущие* и *благодуществовать*, получившие особенное распространение в русском литературном языке со второй половины XIX века, все-таки восходят к соответствующим книжным славянизмам. Ведь трудно было бы допустить вторичное образование этого слова или его "воскрешение" под влиянием возродившегося интереса к древнерусской письменности. В самом деле, слова *благодущие* (ср. *добродущие*) и даже глагол *благодуществовати* отмечены в памятниках древнерусской письменности XII–XVI вв. Напр., в Сборнике XVI в. "О летнем обхождении и воздушных переменах": "длъжни есмы... *благодуществовати* и

- не гнѣваться". Глагол *благодаруешествовати*, по-видимому, имел два оттенка: 1) быть бодрым; 2) находиться в радостном настроении (Срезневский, Т.3. Дополнения, с. 15). В церковно-славянском языке слова – *благодарушие* и *благодаруешествовать* широко употреблялись и в XVII–XVIII в. (ср. в посланиях Апостола Павла к Филиппийцам, 2, 19: "Да и азъ *благодарушествоую*, увѣдѣвъ, яже о вась"). Они не чужды были высокому и среднему стилю русского литературного языка этого времени. Напр., в "Капище моего сердца" И.М. Долгорукого об архимандрите Парфении: "Он отпевал и предал земле тело меньшей дочери моей Евгении, плакал вместе со мной, когда мне бывало грустно, и *благодаруешествовал*, когда небо посылало мне отраду" (изд. "Русск. архива", с. 257). Но уже в словаре 1847 г. слова *благодарушие* и *благодаруешествовать* квалифицируются как церковные. Глагол *благодаруешествовать* был пропущен, по-видимому, в силу его малой употребительности в первом издании словаря Даля. П. Шейн в своих "Дополнениях" к словарю Даля обратил внимание на этот пропуск: "*Б л а г о д у ш е с т в о в а т ь*. Пропущено. Это слово, как мне кажется, пущено в литературный оборот Островским" (с. 8). В связи с изменением стилистических функций слова и его экспрессии, в связи с распространением его в разговорно-шутливой речи происходит сдвиг в его значении. *Благодаруешествовать* означает: "проводить время без дела и забот, находясь в мирном, невозмутимо-покойном, добродушном расположении духа" (ср. те же экспрессивные изменения в словах: *благодарушие* и *благодарушный*).

Когда живое употребление слова прерывается, то утраченное слово, закрепленное в памятниках письменности, может дать жизнь как бы новому слову с той же внешней формой, но наполненному новым содержанием. Напр., слово *тризна* в древнерусском языке означало "погребальные игры, погребальное состязание". В этом значении оно употребляется в начальной летописи. Старославянские тексты через *тризна*, *трызна* передают греческие δτάρτιον, παλαίστρα, ἄθλον и т.п. Следовательно, и тут *тризна*, *трызна* значило: "борьба, состязание". "Состязания в память умершего, как часть погребального обряда, до сих пор известны у осетин. Это – скачки с призами из одежды покойного, его оружия, седла, иногда из лошади, быка, денег", – заметил в связи с этим акад. А.И. Соболевский (Материалы и исследования, с. 273–274)⁴¹. Слово *тризна* в этом употреблении постепенно отмирает вместе с самим обрядом погребальных игр, состязаний. Слово *тризна* в Новгородском глоссарии XV в. (по списку 1431 г.) объясняется так: "страдальчество, подвиг". Таким образом, уже в XIV–XV вв. оно относилось к разряду "неудобь познаваемых речей". Во второй половине XVIII в. – под влиянием растущего интереса к древнерусской истории – распространяется знакомство со словом *тризна*. Постепенно входит в литературное употребление слово *тризна* в значении: "погребальный пир, поминки"⁴². Это осмысление было подсказано бытом той эпохи. Напр., у И.А. Крылова в басне "Кот и повар":

"... он набожных был правил
И в этот день по куме *тризну* правил..."

У Пушкина в "Песне о вещем Олеге" (1822)

"На *тризне*, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обagriшь
И жаркою кровью мой прах напоишь!..."

"Ковши круговые, запенясь, шипят
На *тризне* плачевной Олега..."

⁴¹ Ср. у Niederle L. (Slovanské starožitnosti. Svazek. I. Praha, 1911) изображение тризны как символической игры, сопровождаемой питьем и пением (см. рецензию М.Н. Сперанского в Этнограф. обозр., 1912, № 3–4, С. 69).

⁴² Любопытно, что и в словаре 1847 г. слово *тризна* считается старинным. Отмечены 2 значения: 1) языческое поминовение усопшего, 2) рыцарские игры при поминовении усопшего.

Ср. у Некрасова в "Размышлении у парадного подъезда":

"Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною *тризною*,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчиною,
Возвеличенный громкой хвалой!..."

На основе этого значения в поэтическом стиле первой половины XIX в. стало развиваться переносное употребление: *тризна* – в смысле: "скорбное воспоминание о ком-нибудь или о чем-нибудь утерянном, погибшем".

У Баратынского в стихотворении "Осень":

"Садись один и *тризну* соверши
По радостям земным твоей души!"

В диалектном употреблении слово *тризна* получило еще новый оттенок значения, связанный с поминальным угощением. По словам П.И. Мельникова, "На похоронных обедах сливают вместе виноградное вино, ром, пиво, мед и пьют в конце стола. Это называется *тризной*". Ср. в рассказе П.И. Мельникова "Старые годы": «...»–За невестами у меня дело не станет: каждая барышня пойдет с удовольствием. Не пойдет, чорт с ней, – на скотнице Машке женюсь". Под эти слова стали *тризну* пить» (Мельников-Печерский, т. 1, с. 144). Если считать основным признаком тожества для слов, не имевших непрерывного употребления, непосредственную генетическую связь их реставрированного облика с их древним употреблением, то круг тожеств очень расширится. (Напр., в 40–50-х годах XIX в. восстанавливается широкое литературное употребление слова *рознь* в знач. "раздор, несогласие"⁴³. Таким образом, в историко-лексикологическом аспекте под непрерывностью исторического существования слова понимается как активное употребление соответствующего слова в разных исторически сменявшихся системах языка, так и пребывание его, иногда на протяжении целых столетий, в архивном фонде данного языка. Понятно, что в этом архивном фонде, в этой своеобразной сокровищнице исторических богатств и потенциальных ресурсов языка, хранятся не все слова когда-либо бывшие в живом употреблении, а лишь те, которыми обозначаются существенные или характерные явления и представления национального прошлого, с которыми связаны типичные черты стиля и мировоззрения известной эпохи и которые признаются в том или ином отношении ценными для выражения коренных начал народного духа.

Несомненно, что даже в этом расширенном смысле понятие непрерывности бытия в истории данного языка неприменимо к таким словам, в разновременном употреблении которых отражаются лексико-семантические процессы чужих языков. Напр., слово *progress* появилось в русском литературном языке в начале XVIII в. (ср. латинск. *progressus*, немецк. *Progress*). Оно обозначало: "успех" или по определению рукописного лексикона нач. XVIII в.: "прибыль, прибыток, преуспевание"⁴⁴. Ср. у Шафирова в "Рассуждении" (1717): "Войско... многия *прогрессы* (выигрыши) чинило" (с. 43). Совершенно иным содержанием наполнилось слово *progress* в интернациональной

⁴³ См. Грот Я.К. Зап. о сл. Даля // Зап. Имп. АН, т. 20, кн. 1, С. 18. Однако ср. указания на то же значение этого слова "раздор, несогласие" в словарях Академии Российской и в Общем церковно-славяно-русском словаре П. Соколова (1834). В словаре Академии Российской (1822). Т. V, с. 1068 "*Р о з н ь* зни, с.ж. 4 скл. *стар.* 1) Раздор, несогласие. И в людех ваших во всех *рознь*. Голиков дополнения к Истории Петра Великого. 3, 354. 2) Одиночество, особенность, число несовокупное. Разойтись *в рознь*". В словаре П. Соколова помета – "старинное" – устарена; первое значение определяется так: "то же, что *разность*", второе: "раздор, несогласие".

⁴⁴ Смирнов Н.А. Зап. влияние на русский язык в Петровскую эпоху. СПб. 1910 // Сб. ОРЯС. – Т. 88, № 2. С. 244.

общевропейской социально-политической терминологии (ср. франц. *progrès*, англ. *progress*), откуда это слово вновь проникает в русский литературный язык 30–40-х годов XIX столетия⁴⁵.

Точно так же не может быть признано непрерывным существованием многократно возобновляющееся образование таких производных слов, которые в индивидуальной и даже в широкой коллективной речевой деятельности самостоятельно возникают как новые слова. В советском языке на время явилась целая серия слов, произведенных от церковного славянского аллилуя (евр. *halleluja* "хвалите бога"): *аллилуйщик*, *аллилуйщина*, *аллилуйный*, *аллилуйский*. "Аллилуйщик – это человек, неумеренным восхвалением существующего положения вещей прикрывающий отрицательные явления и тем мешающий борьбе с ними" (Словарь Ушакова, т. 1, М., 1935). Имя прилагательное к этому слову может быть образовано так: *аллилуйщицкий* или более книжно *аллилуйский*. Любопытно, что слово *аллилуйский* в индивидуальной речи употреблялось раньше, но непрерывной традиции в этом употреблении установить невозможно. В письме Тургенева к Фету от (8 окт.) 26-го сент. 1871 г.: «Друг мой, обожание "Московских Ведомостей" должно быть соединено с некоторой долей самостоятельности – а то ведь как раз можно заговорить "аллилуйским" языком» (Тургенев. Письма, с. 129).

IV

Отправным пунктом исторического исследования слова является современная система его употреблений и значений. Но семантический объем живого слова на современной стадии развития языка бывает ограниченнее, уже, хотя и отвлеченнее и логически расчлененнее, чем структура слова на иных далеких от нас стадиях истории языка. То, что в современном языке стало разными словами – омонимами, генетически может восходить к одному лексическому зерну. Смысловый объем слова исторически меняется, внутренняя сущность слова также исторически изменчива. Таким образом, диспропорция между современным понятием о слове и восприятием слова на других стадиях развития создает противоречия в понимании самой лексической единицы, как объекта исторического исследования. Вопрос о единстве смысловой структуры слова в его историческом развитии упирается в вопрос о происхождении, генетической связи и эволюции значений этого слова. Анализ современной системы значений может быть лишь началом такого исследования. Напр., в современном русском языке непосредственным сознанием различаются два глагола-омонима *приписать*:

I. *Приписать* – *приписывать* – 1) *что*. Написать в дополнение к чему-нибудь, прибавить к написанному прежде. *Приписать* несколько слов в письме. *Приписать* заключение к последней главе повести. 2) *кого-что*. Записав, причислить куда-нибудь, внести в списки (канц. офиц.). *Приписать* к призывному участку.

II. *Приписать* – *приписывать* *кого-что кому-чему*. Счесть причиной чего-нибудь, отнести за счет кого, чего-нибудь. Долгое отсутствие письма *приписывал* неисправности почты. У Пушкина в "Капитанской дочке": "Анна Власьевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но *приписала* его провинциальной застенчивости". // Счесть принадлежностью кого-нибудь или счесть принадлежащим кому-нибудь, *Приписывал* ей всяческие добродетели. Ср. у Пушкина: «"Вампир", повесть неправильно *приписанная* лорду Байрону» (В словаре Ушакова оба омонима слиты в одно слово).

Можно ли оба эти омонима возводить к одному слову, видеть в них продукт семантического распада единой смысловой структуры? Без историко-семантического

⁴⁵ См. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. 1938. С. 389.

исследования сразу ответить на этот вопрос невозможно. Легко заметить, что второй омоним соответствует по своему морфологическому строю и по смыслу немецкому: "Jemand etwas zuschreiben". Ср. в письме знаменитого фельдмаршала Барклая де Толля (от 15-го января 1813): "Wenn ich Ihnen nicht früher geantwortet habe, so *schreiben* Sie es dem Meere von Geschäften die mich belagern zu" ("Если я вам не отвечал ранее, то *припишете* это морю дел, осаждавших меня") (Русск. старина, 1888, октябрь, с. 265). Эта калькированная передача немецкого *Zuschreiben* возникла в русском деловом языке XVIII в. Во всяком случае, в словарях Академии Российской все современные значения обоих омонимов уже зарегистрированы и объединены в одном слове: *Приписывать, приписать*, – 1) Прибавлять что к написанному. *Приписать* к чему статью, строку... 2) Письменно утверждать что за кем во владение или в ведомство. *Приписать* крестьян к какому уезду, к заводу. 3) Придавать кому по свойству, качеству наименование. *Приписывать* кому добродетели. 4) Относить что к кому или почитать кого или что причиною, главным орудием чего. Победу сию *приписывают* храбрости, искусству и прозорливости полководца. 5) Относительно к сочинениям: посвящать кому какую книгу. Иногда обе конструкции, связанные с глаголом *приписать*, в русском языке смешиваются. Напр., у И.А. Второва в воспоминаниях "Москва и Казань в начале XIX в.": "Добродетели твои *приписывали* к корыстным видам, а слабости, свойственные всем людям, низким порокам" (Русск. старина, 1891, апрель, с. 22). Таким образом, есть основания утверждать, что в русском литературном языке XVIII в. и первой половины XIX в. внутренняя объединенность разных значений, связанных с одним и тем же звуковым комплексом – *приписать*, – считалась непосредственно очевидной и что тенденции к распаду их на две омонимных лексических единицы еще не было. Естественно, что процесс расхождения двух рядов значений: *приписать* – "написать дополнительно к чему-н." или "записать к какому-нибудь разряду" и *приписать* – "счесть что-н. причиной чего-н." или "счесть принадлежностью чего-н." был связан с дифференциацией их морфологической структуры: в одном глаголе сохранялись отчетливые семантические признаки префиксального словопроизводства (*приписать* – "написать при", т.е. "дополнительно к", ср. *приписка*, в другом – приставка *при* – все больше теряла значение особой морфемы, и крепло ощущение непроизводности основы (*приписать* – "признать причиной").

Идеологические противоречия между современным мировоззрением и семантическими системами далекого прошлого часто приводят к искажению смысловой перспективы в истории слова. Истории слова грозит опасность превратиться в легенду о слове, предсказываемую господствующей теорией современности. Истории материальной культуры и общественных мировоззрений не всегда устраняют этот элемент легендарности, так как сами несвободны от влияния "злобы дня". Проектор современного освещения далеко не всегда разгоняет туман или мрак прошлого. Очень часто он вызывает лишь иллюзию ясности. Итак, противоречия между реально-историческими основами прошлых идеологий и между односторонностью современных теорий исторического познания могут стать препятствием к адекватному постижению действительности. Интерпретация старинного употребления слова обычно опирается или на архаические пережитки его применения в современных областных народных говорах, или на подстановку современных понятий под свидетельства древних текстов. В обоих случаях происходит исторически неправомерный перевод на современный язык, приноровление к современной системе понятий. Еще Лейбниц заметил: "Если трудно понять значение слов у наших современников, то тем более трудно это в отношении авторов древних книг"⁴⁶. История чаще всего осмысливает действительность прошлого под влиянием господствующих идей современности. Придавая образ, значение и внутреннее единство давно минувшим явлениям, история в той или

⁴⁶ Лейбниц Г Новые опыты о человеческом разуме. 1936 / Пер. П.С. Юшкевича. С. 295.

иной мере творит из них легенду. Каждая эпоха имеет свой образ прошлого, свою легенду о нем. Г. Шухардт писал: "Сторонник исторической науки прежде думал иной раз из тесноты настоящего убежать в простор прошлого. Теперь настоящее нам кажется просторнее, чем прошлое... Именно настоящее вообще и всегда важнее для науки, чем прошлое. Ее задача – постичь действительность, и эта задача всего успешнее может быть выполнена нами, когда мы имеем возможность непосредственно наблюдать факты"⁴⁷.

Не подлежит сомнению, что идеологическая модернизация прошлого, его тенденциозное освещение в духе той или иной теории искажает историческую перспективу развития значений слова. Примером одностороннего освещения семантических процессов могут служить такие историко-лексикологические рассуждения И. Прыжова в "Истории кабаков в России в связи с историей русского народа" (1868): «Древнеславянский *муж* получает в Москве бранное имя *мужика*, которое переходит в это время и в Малороссию, и брань: *подлинной ты мужик*, повторяясь чаще и чаще, сокращается в новое, модное в XVIII в. слово – *подлый*, прилагательное ко всему народному... Имя *человек*, высокое по понятию народа (малор. *чоловік* – домохозяин), спускается до названия холопа, лакея: общественное название лакеев: *человек*, *люди*. Вообще слово *люди*, служившее некогда названием всего народа, получило с этого времени какое-то злое значение: "люд! экой люд!"». (с. 245). Тут звучит голос негодующего на социальное неравенство народника – революционера 60-х годов, в угоду агитационным задачам сильно изменяющего историю значения слов – *человек* (первоначально "самец, мужчина, муж"), *люд*, *подлый*, *мужик*.

Наш современник А.А. Дементьев в таком виде представляет семантическую историю слова *мужик*: "Можно предполагать, что слово *мужик* когда-то имело умалительно-пренебрежительный оттенок в значении и противопоставлялось слову *муж*. Другими словами, с одной стороны, были *мужи* – представители правящих верхов общества, с другой – *мужики* – представители низших сословий. Такая догадка находит себе некоторое подтверждение и в том, что в древних памятниках письменности, большею частью судебно-юридического содержания, жена боярина и вообще знатного человека того времени и жена человека из низших сословий называются по-разному. В первом случае *жена*, во втором, наряду с *жена*, – часто *жёнка*". Далее отмечается употребление слова *мужик* со значением "крестьянин" в Летописи по Никонову списку под 7064 (1556 г.): "И *мужики* многими иски отыскивались"⁴⁸. И эти семантические догадки в гораздо большей степени опираются на общие историко-социологические соображения, чем на конкретные лингвистические факты. Не исследуется ни акцентологический тип слова, ни его древнерусское употребление хотя бы на протяжении XVI и XVII веков, ни его отношение к слову – *крестьянин*, возникшему, по мнению П.Б. Струве, в связи с древнерусским церковным землевладением в XIV–XV вв.⁴⁹

В конце 80-х годов XIX в. на страницах Русского Архива происходила оживленная полемика по вопросу об историческом значении слова *кормление*. Первым выступил Д.Д. Голохвастов со статьей "Историческое значение слова *кормление*". Он доказывал, что *кормление* в старинном языке означало не "питание", а "правление". Слова *корма*, *кормило*, *кормчий*, *кормчая книга*, – писал Д. Голохвастов, – несомненно одного корня со словом *кормление*; но в них, очевидно, нет ничего общего с понятием о *питании*; об эксплуатации в свою личную, частную пользу, и все они прямо указывают на понятие *об управлении*" (Русск. архив, 1889, № 4, с. 650). "Дать кому-либо город

⁴⁷ Schuchardt-Brevier H. Halle. 1928. S. 268–269.

⁴⁸ Дементьев А.А. Суффикс *-ик* и его производные // Уч. зап. Куйбышевск. гос. пед. ин-та, 1942. Кафедра языкознания. Вып. 5. С. 42.

⁴⁹ Это мнение П. Струве высказал в докладе на 4-ом съезде русских ученых в Белграде в 1928 г. (см. Slavia, 1930, гош. IX, seš. I, с. 213).

или область в кормление – значит поручить ему управление этой местностью или, как сказали бы теперь, сделать его губернатором" (там же). Известно, что еще К.С. Аксаков выражал сомнение, правильно ли поступал С.М. Соловьев, понимая слово *кормиться* "в современном разговорном значении без исследования исторического". "Знакомство с памятниками показывает нам совсем другое"⁵⁰. Несомненно, что истолкование слова *кормление* (применительно к боярской деятельности) зависело от общей концепции древнерусского социально-исторического процесса. Классовые основы понимания термина *кормление* в значении "управление" раскрываются в таких заявлениях П.Д. Голохвастова, выступившего со статьей "Боярское кормление" в защиту мнения Д.Д. Голохвастова: "Назывались ли бояре *кормленщиками* от прирожденного права как можно сытнее *кормиться* народонаселением, т.е. буквально *миро-едствовать* или же от прирожденной обязанности, с дворцом во главе, *кормить-ствовать* землю [т.е. управлять землей. – В.В.] вот ведь в чем вопрос" (Русск. архив, 1890, № 6, с. 242). «Как же историки-то, Иловайские, Ключевские... как же могут они, изучившие книгу бытия Руси изначала даже и доднесь, не спохватиться, в чем вся *raison d'être*, вся причинная суть этой, будто бы "достаточно выясненной", так называемой системы кормления? Ведь очевидно же, вся она единственно в модности, еще Пушкину столь претившей, но тогда еще только буржуазной, теперь уже уличной, бесстыже-оголтелой модности ляганья... Геральдического льва Демократическим копытом» (там же, с. 218).

В сущности, другими словами, но ту же мысль выражал и Д.Д. Голохвастов в указанной выше статье: "Если бы неверно истолковывалось другое слово, это могло бы не иметь значения, но тут искажается весь смысл нашей истории. Если бы лучшие слуги действительно заботились прежде всего о своих личных выгодах, а государственные дела откладывались; если бы наши московские великие князья и цари, после стольких усилий и таких жертв народной кровью, не умели сделать ничего лучшего из вновь завоеванного царства, как отдать его на растерзание этим алчным боярам, то не доросло бы Московское княжество до размеров России" (Русск. архив, 1889, № 4, с. 655). Ключевский иронизировал по этому поводу: "Как! Толкованием одного слова можно исказить весь смысл нашей истории?... замечательно лаконичен смысл нашей истории: он весь в одном слове – *кормление*" (Русск. архив, 1889, № 5, с. 145).

П. Голохвастов свое понимание слова *кормление* в значении "управление" обосновывает ссылкой на выражение *держать кормление*, на глаголы *кормить-ствовать* "управлять", на фразеологические контексты употребления слова *кормление* в древнерусских грамотах XIV–XVI вв. (*кормление с правдою*, т.е. с правом на суд и пошлину; *кормление по исправе* и т.п.), на общую этимологическую судьбу лексического гнезда, связанного с глаголом *кормити*. П. Голохвастов готов допустить, что *кормить* – *nutrire* "питать" и *кормить* – *gubernare* "управлять" две ветви одного корня и что «живы еще отпрыски дичка, в которых *кормилец* – "питатель" и *кормилец* – "властитель" почти неразличимы». Но "обе [эти] корневые ветви разрослись... далеко врозь". Поэтому толковать боярское *кормление* как "питание" невозможно вопреки таким историкам, как С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, Д. Иловайский, В. Ключевский и др. "И никому им в голову не приходит, что ведь этою этимологией *кормления* ... они eo ipso отрицают у себя правление, как факт и как понятие, у них не существующие, им чуждые, им – т.е. всей России времен кормления, с Рюрика до Михаила Федоровича, по г. Чичерину, до Петра, по г. Иловайскому. Признавая себя (страну) – живым кормом (бояре – потребителями, а государя – распорядителем кормежки), они отрицают себя как государство, признают себя за стадо, которое жалует волкам пастырь-наемник, пастырь-волк в овечьей шкуре" (Русск. архив, 1890, № 6, с. 238–239). По мнению П. Голохвастова, только с половины XVI и особенно в XVII в.

⁵⁰ Аксаков К С Соч. Т. I. М., 1861. С. 139.

начинает забываться древнерусский смысл термина *кормление* и глагола *кормити*. *Кормить* – *кормление* начинают смешивать с *кормить* – *питать* и производными. "Разумеется, такова судьба не одного *кормления*: забывались или обесмысливались и многие другие слова" (там же, с. 247–248).

Между тем, еще Б.Н. Чичерин в своем труде "Областные учреждения России в XVII в." (М. 1856, с. 2 и след.) так характеризовал *систему кормления*, органически связанную с характером управления князя – вотчинника: "...доходы жаловались в кормление княжеским слугам... Суд отдавался в кормление наместникам и волостелям... Душегубство вместе с остальным судом бывало в кормлении за волостелями. Все это определялось не правительственными соображениями, а ... расположением князя к тому или другому *кормленщику*". "Штрафование было произвольное; судья извлекал из преступника все, что мог. ... Имелось в виду не столько преступление, сколько доходное действие. ... Преступление составляло как бы собственность судьи"⁵¹. Этот взгляд на кормление как на способ вознаграждения наместников и волостелей за государственную службу был принят затем и С.М. Соловьевым. В "Истории России" он писал: "За свою службу князю, придворную, думную и ратную, бояре в этот период стали получать вознаграждение в трех видах: кормления, вотчины и поместья. Первый вид был связан с должностями наместников и волостелей. Назначая наместников в свои города, князь давал областям правителей и судей; в то же время он давал своим боярам возможность кормиться на счет жителей, т.е. пользоваться как судебными пошлинами, так и разными поборами натурою" (т. 11, с. 363).

По вопросу о значении слова *кормление* в связи с заметкой Д. Голохвастова выступили со статьями Д.И. Иловайский и В.О. Ключевский. Д.И. Иловайский как в своей статье о казанских делах при Грозном (Русск. архив, 1889, кн. 1), так и в ответе "Моим возражателям" (там же, 1889, кн. 5) считал смысл термина *кормление* вполне раскрытым в русской исторической литературе: "...вопрос о кормлениях достаточно выяснен в Русской истории, и никакие открытия ... тут невозможны" (там же, с. 131). В обоих судебных делах Ивана III и Ивана IV упоминаются "кормления с судом боярским" и "кормление без боярского суда". О *кормлениях* говорится и "в связи не столько с управлением, сколько с судопроизводством, и преимущественно с пошлинами или с судебными доходами в пользу кормленщиков"⁵². Иловайский рекомендовал Д. Голохвастову за более подробными справками о значении слова – *кормление* – обратиться к трудам по истории русского права, каковы напр. труды Неволлина, Калачова, Чичерина, Дмитриева, Сергиевича, Градовского, Владимирского-Буданова и др.

Более филологический характер носила статья В.О. Ключевского «По поводу заметки Д. Голохвастова об историческом значении слова "кормление"». Ключевский напоминает, что «*кормлениями* ... назывались в древней Руси судебно-административные должности, соединенные с доходом в пользу должностных лиц, который получался ими прямо с управляемых... Этот доход носил общее название *корма*, соответствующее нынешнему канцелярскому термину "содержание"; отсюда и доходная должность получила название *кормления*. Так понимали это слово, если я не ошибаюсь, все ученые исследователи русской истории» ("Письмо к издателю" // Русск. архив, 1889, № 5, с. 138). Ключевский считает, что глаголы *кормить* – "питать" и *кормить* – "управлять" – омонимы, хотя, быть может, и восходящие к одному корневому элементу. Но "ведь мы трактуем не об этимологическом происхождении, а об историческом значении слова *кормление*. Лингвисты вольны производить это слово от каких им угодно корней... Для объяснения исторического значения слова у нас есть под руками более надежное и привычное для нас орудие, чем мудреный корнесловный словарь: это орудие – исторический документ" (с. 139–140). "... нужны древние

⁵¹ Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII в. М., 1856. С. 2 и след., с. 3–5, с. 10–11.

⁵² См. Иловайский Д.И. История России. Т. 2. М., 1884. С. 522.

документальные тексты, которые достаточно явственно вскрывали бы древний смысл слова кормление" (с. 142). "Этот административный термин ... является уже в памятниках XIV века, притом в таких контекстах, которые явственно изобличают значение, тогда ему принадлежавшее" [в договорной грамоте вел. кн. Дмитрия Ивановича 1362 г.]. «В конце XV в. боярам Судимонту и Якову Захарьину дана была в *кормление* Кострома с разделением города пополам между обоими: один из *кормленщиков* жаловался в Москве, что им обоим "на Костроме сытым быть не с чего". На языке XIV в. *сидеть на кормлении* значило "есть хлеб"» (с. 143). Ключевский заключает свое письмо такими словами: "Жутко работать русскому ученому, когда всякий почтенный согражданин может печатно обвинить его за всякое слово во всем, что ему вздумается, и только обвинить, а не опровергнуть" (с. 145).

Полемика о *кормлении* завершилась "Историко-критическими заметками" Д.И. Иловайского, помещенными в "Русской старине" (1890, ноябрь). Здесь был приведен новый исторический материал, в пользу установившегося понимания термина *кормление*; было указано, что слово *кормление* для обозначения "пользования сборами", "кормами" употреблялось не только в Московском княжестве, но и в Новгородском народоправстве с XIV в. «Новгородская летопись под 1383 г. говорит, что из Литвы приехал князь Патрикий Наримонтович, и новгородцы "даша ему *кормление*, пригороды Орехов и Корельский, и пол-Копорья городка, и Муское село"» (с. 428–429). Иловайский, иронически называя теорию Голохвастова "губернаторской", замечает: "Ничего не может быть антиисторичнее, как древним бытовым формам навязывать понятия и отношения нам современные и давно прошедшие явления оценивать с точки зрения новейшей культуры" (с. 435). По мнению Иловайского, г.г. братья Голохвастовы в вопросе об историческом значении слова *кормление* "вооружились не изучением предмета и серьезным к нему отношением, а одним мнимопатриотическим взглядом на наше прошедшее (с. 435).

В заключение проф. Иловайский, допуская возможность происхождения разных омонимов: *кормити, корм, корма, кормило* и т.п. от одного корня, отказывается от всяких "этимологических упражнений" в этом направлении: "Объяснить, какими путями образовались в народном языке разнообразные выражения, пошедшие от одного известного корня, или разные оттенки одного и того же слова, – это такая задача, которая часто не под силу и записным филологам" (с. 436).

В самом деле генетическая связь, устанавливаемая между разными значениями одного и того же слова в разные периоды его истории, – не дана в материале. Она открывается самим исследователем. Следовательно, в ее понимании всегда может быть та или иная степень индивидуального произвола. Легко найти генетическую связь значений одного слова там, где лишь простое сосуществование или самостоятельное зарождение двух одинаковых по внешности, но разных по существу слов. Опасность принять разные производные словообразования, самостоятельно вырастающие из одних и тех же морфем, за генетически связанные разновидности одного и того же слова – является тем подводным рифом, на который часто наскакивает ладья лингвиста, плавающего по безбрежному океану слов.

Ф. де Соссюру указывал, что при применении проекционного метода к изучению языковых фактов необходимо различать две перспективы: "проспективную, следующую за течением времени", соответствующую действительному развитию событий, и другую, "ретроспективную, направленную вспять". Но, вопреки Соссюру, линии их должны пересекаться и совпадать. Проспективное воспроизведение языкового процесса основывается на "множестве фотографий языка, снятых в каждый момент его существования", т.е. оно базируется на документах и на их интерпретации. По словам Ф. Соссюра, часто оно сводится к "простому повествованию и целиком опирается на критику документов". Напротив, ретроспективное исследование "требует метода реконструкции, основанного на сравнении". Оно предполагает серию однородных явлений – сопоставимых в изучаемом отношении в своей совокупности

ведущих к обобщению. "Чем многочисленнее опорные моменты сравнения, тем точнее оказывается эта индукция"⁵³. В истории слов и выражений связь этих обеих перспектив теснее, чем где-нибудь в другой области языкознания. Правда, возможны и резкие расхождения их по разным направлениям или только кажущиеся совпадения. Отсутствие надлежащей документации очень часто придает проспективному рисунку изменений слова иллюзорный, крайне гипотетический или очень внешний характер. Понимание тех скрытых исторических процессов, которые отражались в современных формах и функциях слова, нередко бросает яркий свет и на его далекое прошлое. Дело в том, что история слова, опирающаяся только на документы и на показания памятников, может отражать, и то до некоторой лишь степени, последовательность литературных употреблений слова, а вовсе не смену и не развитие его значений.

Более древние и первоначальные значения слова часто находят очень позднее отражение в литературной традиции, а иногда и вовсе не проникают в нее, будучи, однако, очень живыми и действенными в современной устной речи. Понятно, что как проспективное, так и ретроспективное исследование слов и выражений всегда опирается на общее представление о последовательных рядах семантических превращений, об исторических закономерностях семантического развития, на историческую науку о развитии мышления, материальной культуры и общественных мировоззрений.

V

Восстанавливаемая историческим исследованием схема изменений значений слов не совпадает с живыми представлениями говорящих или говоривших о функциях и употреблении этого слова. Вот почему субъективные свидетельства современников о семантическом строе слова, о восприятии его в ту или иную эпоху должны быть процежены через сито исторических фактов. Они должны быть проверены и осмыслены с объективно-исторической точки зрения. Противоречия между субъективным историческим пониманием слова, присущим коллективу как отдельным его представителям, и между субъективно-исторической, проекционной схемой движения значений этого слова – вот новая антиномия исторического исследования.

Общественная оценка новизны слова, ощущение слова, как неологизма, в литературном сознании того или иного времени – отнюдь не является объективно достоверным и окончательным свидетельством о времени "рождения" слова. При проекционном исследовании субъективные показания этого рода имеют лишь вспомогательное значение. Они играют только направляющую роль, служа средством ориентировки. Вопроса о том, не существовало ли раньше того же слова в другой среде, в другом стиле, не было ли оно законсервировано в памятниках старой письменности, хотя бы в других значениях, эти показания не решают. Напр., Я.К. Грот считал, что слово *даровитый* относится к числу "новых словообразований" послекарамзинского периода...⁵⁴. Между тем, в начале XIX в. (в 20–30-х гг.) развилось лишь пассивное значение этого слова: "одаренный, обнаруживающий дарование". В значении же: "любящий дарить, щедрый", слово *даровитый* истари употреблялось в высоком стиле книжного языка и лишь к XIX в. это словоупотребление сильно заглохло в связи с распадом старой системы высокого стиля (Ср. словарь 1867–1868, 1, с. 641).

Н.И. Греч (Чтения о русском языке, 2) и Я.К. Грот (Филологические розыскания. Труды, 2, с. 14) относили образование таких слов, как *возникновение* и *исчезновение* к 30–40 гг. XIX в. И, действительно, эти слова не помещены в словаре 1847 г. Даль склонен был считать слово *возникновение* ненародным, нерусским: "Если ... нас заставляют читать: при *возникновении* литературы, то неужели еще полагают вдобавок уверить нас, что это по-русски, или что нельзя было обойтись без этого

⁵³ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 96, 192.

⁵⁴ Грот Я.К. Записка о Толковом Словаре Даля // Зап. Имп. Акад. наук. 1871. Т. 20. Кн. 1. С. 18.

бесподобного оборота, по недостатку на языке нашем слов, для пояснения само-бытных мыслей писателя"⁵⁵. Между тем, слово *возникновение* – едва ли не старославянизм. Во всяком случае, оно находится в словарях церковнославянского языка Миклошича (с примером из Патерика XIV в.) и Востокова. А.Н. Попов отметил слово *возникновение* в "Чтении на Крещение Господне" (по сербскому списку XIV в.)⁵⁶.

И все-таки субъективные свидетельства о словах, об их значениях и стилистических качествах, об их внутренних формах, об общих свойствах лексической системы литературного языка в ту или иную эпоху, о составе и функциях словаря отдельных стилей имеют громадную историческую ценность. Но, как и всякие исторические документы и личные впечатления, они подлежат суду исторической критики. Скрытое в них зерно объективной языковой действительности может быть чрезвычайно ценным. Очень часто они помогают исследователю глубже проникнуть в имманентную систему лексико-семантических категорий и отношений, свойственных языку той или иной эпохи. Вот пример. Слово *возраст* до XVIII в. обозначало "рост, величину". В переносном и расширенном значении оно издавна могло указывать на период, степень в развитии человека: *возраст младенческий, отроческий, юношеский, мужеский*, позднее и *старческий*. Для этого переносного значения был далеко не безразличен вопрос, осознается ли связь слова *возраст* с глаголом *возрастать* – "прибавлять в росте, увеличиваться". Пока это связь была жива, применение слова *возраст* к периоду увядания человека оказывалось затруднительным. Это словоупотребление могло укрепиться лишь тогда, когда основное значение слова *возраст* – "рост, величина" вышло из литературного употребления и сохранилось в церковном языке (ср. определение знач. слова *возраст* в словаре Академии Российской и в словаре 1847 г.). Характерно, что выходец из духовной среды Г.И. Добрынин в своих "Записках" (конца XVIII начала XIX в.) все время иронизирует над академическим применением слова *возраст* к периоду старческой жизни. "Видно было по всему, что он силился шаг свой сделать твердым, осанку горделивою; в самом же деле, на зло бодрости, волочил ноги, хотя и не очень был сед; а когда зачитал молитву, то еще больше дал приметить, что шестьдесят третий год его жизни требует принадлежащей себе дани". К слову *жизни* сделано примечание: "По-академически: *его возраста*". Но дядя мой, не уважая академического смысла, давно уже понижался, а не *возрастал*" (Русск., старина, 1871, № 4, с. 205). Ср.: "Нет сомнения, что он скончался, по счету моему на 60-м году *своего века*, или по-академически – *своего возраста*" (Там же, с. 217–218). "Я старше многих в моем отечестве университетов и *веком* и службою". К слову *век* сделано примечание: "По-ученому: *возрастом*, но мне уже без мала 40 лет, как я *вырос*, и более не расту" (Там же, с. 345). Ср. в языке А.Н. Островского: *прийти, вступить в возраст* – "стать взрослым". В комедии "На бойком месте": "Приходит девушка в *возраст* и нам должно". В пьесе "Красавец-мужчина": "Я *вступила* в совершенный *возраст*". Ср. "У тебя сестра девка на *возрасте*" ("Семейная картина").

Значение "рост" поддерживалось в слове *возраст* употреблением прилагательного *возрастный* в знач.: "взрослый, выросший" (ср. *великовозрастный*). Напр., в романе В.Т. Нарезного "Бурсак": "Асклиада вышла за Марсалия и теперь мать многих *возрастных* детей".

Ф. де Соссюр утверждал, что субъективный анализ языковых единиц, ежеминутно производимый говорящими субъектами, и объективный анализ их, опирающийся на историю, соотносительны. И тот и другой основаны на одинаковом приеме – на сопоставлении рядов, в которых встречается тот же элемент. Исторический анализ – лишь производная форма непосредственного анализа самих говорящих субъектов.

⁵⁵ Даль В. И. Полтора слова о русском языке // Собр. соч. Т. 10. С. 577.

⁵⁶ Библиографические материалы... Чтения в Общ. Истор. и Древн. Российск. 1880. Кн. 3. С. 283.

"Он, в сущности, состоит в проецировании на единой плоскости построений разных эпох"⁵⁷, в объединении тождеств и в установлении между ними генетической связи.

Общезвестно, как искусно пользовались субъективными показаниями говорящих, их живым языковым опытом, их пониманием живых категорий языка И.Я. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Радлов, Л.В. Щерба. Особенно ценны эти свидетельства живых носителей языковой системы, принадлежащие тонким и глубоким "природным лингвистам", когда они относятся к стилистическому употреблению слов, к их экспрессии, к их внутренним формам и к объему и связи их значений. Ведь объем и содержание слова – при кажущемся единстве его номинативной функции – исторически изменяются. «Представление какого-нибудь человека может испытывать прирост, хотя знак этого представления остается без изменения. Слово "земля" оставалось неизменным в течение столетий, а понятие становилось все богаче из поколения в поколение»⁵⁸.

© 1995 г.

СОВРЕМЕННОСТЬ КЛАССИКИ

За неполное десятилетие с середины 40-х до начала 50-х годов академик В.В. Виноградов опубликовал серию программных работ о типах лексических значений слова, синтаксисе словосочетаний, основных понятиях фразеологии, категории модальности, предмете словообразования и многом другом, целиком сохранившем свою актуальность в наши дни. Каждая из них либо закладывала основания новой лингвистической дисциплины, либо давала новый мощный импульс исследованиям в соответствующей области. К их числу относятся и работы о предмете исторической лексикологии, в частности, прочитанный в ноябре 1945 г. на научной сессии в ЛГУ доклад "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования", впервые полностью опубликованный в недавно вышедшей книге: В.В. Виноградов. История слов. М., 1994, Изд-во "Толк".

Этот доклад, конечно, несет на себе стилистическую печать своего времени. Однако сформулированные в нем (как, впрочем и в ряде других примыкающих к нему работ) принципы исторического изучения лексики оказались настолько глубоки и жизнеспособны, что прошедшее пятидесятилетие ни на йоту не сдвинуло их в область истории. Это касается и полученных В.В. Виноградовым конкретных результатов, и самого подхода к исследуемому материалу.

Главные тезисы этой исключительно богатой мыслями и логически очень стройной работы (хотя внешне она кажется почти не структурированной) можно свести в следующие три тесно связанные друг с другом рубрики: 1) элементы общего учения В.В. Виноградова о языке; 2) философия истории языка; 3) возникающие в связи со сложностью устройства языка и перипетиями его развития трудности его историко-лексического изучения.

В общем лингвистическом учении мне бы хотелось выделить два взаимосвязанных тезиса, которые отличают виноградовскую философию языка от некоторых других популярных в ту эпоху общелингвистических теорий.

1. "Строй языка определяется взаимодействием его грамматики и лексики". При этом грамматика языка в высокой степени лексикализована (ср. рассуждения В.В. Виноградова о распадении прежде единого глагола-связки *быть* на самостоятельные слова *есть*, *быть*, *суть*, *сущий*, *буде*), а лексика – грамматикализована (например, потому, что значение слова формируется, среди прочего, его "функциями во фразе").

2. "Так же, как принято говорить о грамматическом строе языка, следует говорить о его лексическом строе", "лексической с и с т е м е, (разрядка моя. – Ю.А.), свойственной тому или иному периоду в развитии языка". Лексическая система языка в целом складывается из более мелких лексических систем – "семантически замкнутых" рядов слов. Элементы таких рядов объединены общностью значения и поэтому подвержены действию одинаковых исторических закономерностей.

⁵⁷ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 168.

⁵⁸ Mauthner Fr. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. 1, 1901, S. 129.

Попытаемся поставить эти утверждения в правильный проспективный контекст и оценить заложенный в них потенциал. Для этого надо будет вспомнить, что даже 20 лет спустя влиятельные школы лингвистики считали только грамматику достойной научного изучения, исповедовали идею "автономного синтаксиса" (независимого от лексического наполнения синтаксических конструкций), а лексику языка, вслед за Л. Блумфильдом, считали "списком основных нерегулярностей", или, как метко сказал Г. Глисон в своей критической статье о лексикографических взглядах дескриптивистов, "отбросами лингвистического описания".

Виноградовская философия истории языка прямо опирается на его общелингвистическое учение, в особенности на положение о системности лексики.

Известен тезис Ф. де Соссюра о том, что только синхронии свойственна системность. Диахрония асистемна и представляет собою историю превращений изолированных, отдельно взятых единиц языка.

В 60-е годы в учение Ф. де Соссюра о диахронии и синхронии были внесены существенные поправки. Диахрония стала рассматриваться как серия последовательных превращений систем, каждая из которых представлена определенным синхроническим срезом.

Достоин внимания то обстоятельство, что в докладе В.В. Виноградова сохранились все ключевые элементы новой концепции. Более того, под пером В.В. Виноградова эти в сущности очень естественные мысли предстали в более интересном свете. Он четко разграничил этимологическое и историко-лексикологическое изучение языка. Цели собственно этимологического исследования достигаются, если раскрыт генезис слова, его и н д и в и д у а л ь н а я история, т.е. мотивированные фонетическими законами и подтвержденные правдоподобными семантическими ображениями этапы его развития из этимона. "Не то в исторической лексикологии. Здесь отыскиваются з а к о н ы изменения значений слов, как индивидуальных конкретно-исторических единств, как ч л е н о в семантически замкнутых и исторически обусловленных лексических с и с т е м" (ср. данное выше определение системы; разрядка моя. – Ю.А.). Разграничив два типа исследований, В.В. Виноградов указал на естественную связь между ними. Этимология "лишь тогда получает твердый научный фундамент, когда она вливается в историческую лексикологию или историческую семантику".

Итак, в историко-лексикологическом анализе, в отличие от чисто этимологического, объектом являются не отдельные слова и даже не гнезда слов с единым этимоном, а целые лексические системы. Их изменение мотивируется действием огромного количества языковых и внеязыковых факторов. В связи с этим возникают специфические трудности историко-лексикологического изучения языка. В.В. Виноградов формулирует их в виде нескольких антиномий, с которыми имеет дело всякий историк лексики и которые он обязан разрешать в своем исследовании конкретного материала. Вот некоторые из них: а) "противоречие между разнообразием живых смысловых связей и отношений слова в конкретных системах языка разных периодов его истории и между абстрактной прямолинейностью реконструируемого семантического движения слова"; б) "единство смысловой структуры слова и потенциальное многообразие его исторических разновидностей"; в) "идеологические противоречия между современным мировоззрением и семантическими системами далекого прошлого"; г) "противоречие между субъективным историческим пониманием слова... и между объективно-исторической, проекционной схемой движения значений этого слова".

Таковы главные идеи доклада В.В. Виноградова. Но особую красоту этой его работе (как и другим работам того же жанра) сообщают многочисленные конкретные наблюдения над словами и группами слов, образующие эмпирический фундамент воздвигаемого В.В. Виноградовым здания. Замечательны, например, лексикологические миниатюры, посвященные словам *наушник*, *туземный*, *кормление*, *народник*, *общественник*, *нигилизм*, *приписывать* и другие.

Нельзя не обратить внимания и на приводимый В.В. Виноградовым список слов, историю которых он считал критической для реконструкции истории материальной и духовной жизни народа. В него входят такие культурные концепты, как *личность* (около того же времени удостоенная специальной статьи), *действительность*, *правда*, *право*, *человек*, *душа*, *смысл*, *чувство*, *мысль*, *причина* и другие. Все они – безошибочно выбранные доминанты той языковой "картины мира", которая формирует всю систему лексических и грамматических значений. Эти слова-концепты стали предметом собственно языковедческих исследований лишь в самое последнее десятилетие и именно в рамках "языковой картины

мира". Последнее обстоятельство позволяет по достоинству оценить лингвистическую прозорливость В.В. Виноградова.

Масштаб ученого можно измерять временем, на которое он опережает свою эпоху. Если с этой меркой подойти к В.В. Виноградову, то окажется, что его открытия – в столетнюю годовщину со дня его рождения, через полвека после того, как они были сделаны, и через 25 лет после смерти автора – по-прежнему в полной мере принадлежат нашему времени. Это в значительной степени объясняется универсализмом Виктора Владимировича, необъятностью его знаний во всех областях филологии и смежных с ней наук, абсолютностью его лингвистического слуха и зрения. Он одинаково уверенно чувствовал себя в любой исторической и географической точке языка, в различных его подсистемах, в литературе и всей духовной культуре народа. Он умел мыслить каждый факт как точку приложения разнообразных внутриязыковых и внеязыковых сил, ответственных за формирование лексических значений.

Даже для своей эпохи – последней эпохи ученых-энциклопедистов – он был уникален. Доклад "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования" – красноречивое этому свидетельство.

Ю.Д. Апресян